

карина сайнс борго

в каракасе

наступит

ночь



Annotation

На улицах Каракаса, в Венесуэле, царит все больший хаос. На площадях «самого опасного города мира» гремят протесты, слезоточивый газ распыляют у правительственных зданий, а цены на товары первой необходимости безбожно растут.

Некогда успешный по местным меркам сотрудник издательства Аделаида Фалькон теряет в этой анархии близких, а ее квартиру занимают мародеры, маскирующиеся под революционеров. Аделаида знает, что и ее жизнь в опасности.

«В Каракасе наступит ночь» – леденящее душу напоминание о том, как быстро мир, который мы знаем, может рухнуть. А также это гимн ностальгии по детству и любви, что вынуждает нас идти на баррикады.

- [Карина Сайнс Борго](#)

-

-

- [Благодарности](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)

Карина Сайнс Борго

В Каракасе наступит ночь

*Посвящается мужчинам и женщинам, которые
были до меня. Посвящается тем, кто придет
потом.*

*Все истории, в которых упоминается океан,
неприменно должны иметь отношение к политике,
потому что каждый человек ищет на его берегах
землю, которую он мог бы назвать своим домом.*

*Голову выше, поэт!
Ведь тебя не сломить ничему.
Пусть ветер свистит в проводах,
Страх нет в твоём сердце.
Важно только одно:
Чтобы внятн был стих...*

Иоланда Пантин «Тазовая кость».

*Родители мои меня зачали
Для тверди, влаги, ветра и огня,
Ласкали и лелеяли меня,
А я их предал...*

Хорхе Луис Борхес «Угрызение»^[1]

И сам чужим я вырос на чужбине...

Софокл «Эдип в Колоне»^[2]

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Маму мы похоронили почти со всеми ее вещами – с ее голубым платьем, черными туфлями-балетками и многофокусными очками. Попрощаться иначе мы не могли, да и забрать у нее эти вещи было бы просто невыносимо. Поступи мы иначе, и она вернулась бы в землю обделенной. Вот почему мы похоронили ее вместе с вещами: после ее смерти у нас все равно ничего не осталось. У нас не было даже друг друга.

В день похорон мы были убиты нашей потерей. Мама лежала в своем деревянном ящике, я сидела на стуле в ветхой часовне, единственной из пяти или шести, которую я пыталась снять для похорон, да и эту мне удалось арендовать всего на три часа. Казалось, вместо похоронных бюро в городе остались только крематории. Умершие отправлялись в печи, как караван хлеба, которые давно исчезли из магазинов, но часто вспоминались нам – вспоминались каждый раз, когда нас одолевал голод.

Вспоминая о дне похорон, я говорю «мы» просто по привычке. Мы – это значит «мы с мамой». За многие годы я и она стали единым целым, словно слои металла внутри многократно прокованного дамасского клинка, с помощью которого мы защищали друг друга от всего мира. Сочиняя надпись для надгробного камня, я со всей отчетливостью поняла, что в первую очередь смерть отражается в языке, когда приходится переносить дорогие тебе вещи из настоящего в прошлое. Употреблять прошедшее завершённое время. Очень нелегко смириться с тем, что у вещей есть начало и конец и что этот конец тоже может оказаться в прошлом. Нелегко думать о том, что когда-то было, но закончилось и больше никогда не повторится. Именно так обстояли дела теперь: начиная с этого дня я могла говорить о своей матери только в прошедшем времени. Не так, как было раньше, не так, как я привыкла. А еще ее смерть означала, что и я перестала быть ее бездетной дочерью.

В городе, охваченном предсмертными корчами, мы потеряли все – даже способность строить предложения в настоящем времени. Было, был, была – вот как мы говорили теперь.

На поминках было всего шесть человек. Первой, с трудом переставляя ноги, явилась Ана. Ее поддерживал под руку ее муж

Хулио. Со стороны казалось, будто Ана уже давно живет в темном и тесном тоннеле, который только что изрыгнул ее в мир, где жили все мы. Несколько месяцев назад она прошла курс лечения бензодиазепином, но сейчас эффект от лекарства почти сошел на нет. Достать же его было почти невозможно – во всяком случае, в количествах, которых хватило бы на новый курс. Как и самый обычный хлеб, алпразолам^[3] стал редкостью, и депрессия, которая овладела всеми, усилилась, подпитываемая глубиной нашего отчаяния. Мы могли только смотреть, как исчезает все, в чем мы нуждались: люди, места, друзья, воспоминания, продукты, спокойствие, тишина, способность рассуждать здраво. «Терять» – этот глагол можно было применить к любому из нас. Сыны Революции превратили его в оружие, которым с успехом пользовались.

С Аной я познакомилась, еще когда была студенткой филологического факультета. С тех пор наши жизни шли параллельно, особенно когда нам обоим предстояло пройти через очередной персональный ад. Болезнь мамы не стала исключением. Когда она оказалась в клинике, Сыны Революции арестовали младшего брата Аны, Сантьяго. В тот день было задержано много студентов. У одних спины были в чудовищных синяках от резиновых пуль, других избили дубинками, третьих изнасиловали автоматными стволами. Что касалось Сантьяго, то он оказался в Ла Тумбе^[4], где ему дали отведать и первого, и второго, и третьего.

Больше месяца Сантьяго оставался в специальной политической тюрьме, расположившейся на пяти подземных этажах Ла Тумбы. Туда не проникал шум снаружи, а в камерах не было ни окон, ни дневного света (только электрический) и никакой вентиляции. Единственными звуками, проникавшими сквозь толстые стены, были скрежет и лязг поездов метро, которые проносились по тоннелям намного выше подземных камер.

Всего камер было семь, и Сантьяго находился в одной из них – самой глубокой. Других задержанных он видеть не мог. Размер каждой камеры был всего два на три метра. Стены и пол были покрыты белой краской. В белый были выкрашены нары и стальные прутья решеток, сквозь которые тюремщики просовывали подносы с едой. Столовых приборов не давали – если хочешь есть, ешь руками.

Уже несколько недель о Сантьяго не было никаких известий. Раньше Ане удавалось поговорить с братом по телефону, за что она регулярно платила неизвестным немалые суммы. Изредка ей на мобильный приходили фотографии, каждый раз – с нового номера, которые служили хоть и сомнительным, но все же доказательством, что ее брат по-прежнему жив, хотя и находится в тюрьме. Потом наступило молчание. Теперь никто из нас не знал, что с ним.

– Никаких новостей, – вполголоса сказал мне Хулио, отступив от стула, на котором Ана сидела уже тридцать минут, неотрывно глядя на мыски своих туфель. За все время она только трижды поднимала голову, чтобы спросить:

– Во сколько похороны?

– В половине третьего.

– Понятно, – пробормотала Ана. – А где?

– На кладбище Ла Гуарита. Мама купила этот участок давным-давно. Там красиво.

– Хорошо... – повторила Ана. У нее был такой вид, словно понять сказанное ей стоило титанического труда. – Хочешь сегодня остаться у нас, пока все не кончится?

– Завтра рано утром я поеду в Окумаре, чтобы навестить теток, маминых сестер. Я хотела отвезти им кое-какие ее вещи, – солгала я. – Но все равно спасибо за предложение. Вам сейчас тоже нелегко. Я знаю.

– Ну, как хочешь... – Ана поцеловала меня в щеку и ушла. Я понимала, что на кладбище она не приедет. Кому захочется присутствовать на похоронах посторонней женщины, если впору готовиться к похоронам собственного брата?

Следующими явились Мария Хесус и Флоренсия – учительницы на пенсии, с которыми мама в течение многих лет поддерживала полуприяТЕЛЬские отношения. Они пробормотали слова соболезнований и сразу ушли, словно понимали: ничто из того, что они способны сказать или сделать, не в состоянии оправдать смерть женщины, которая была еще сравнительно молодой, чтобы покинуть этот мир. Уходили они быстро, словно еще надеялись обогнать старуху с косой, которая могла прийти и за ними. Цветов они не принесли. В зале похоронного агентства вообще не оказалось ни одного венка,

кроме моего – венка из белых гвоздик, который едва прикрывал верхнюю часть гроба.

Мамины сестры, мои тетки Амелия и Клара, на похороны не приехали. Несмотря на то что они были близняшками, одна из них была болезненно полной, а другая – тощей как щепка. Одна постоянно что-то жевала, другая довольствовалась на завтрак крошечной порцией черных бобов и самодельной сигаретой на десерт. Клара и Амелия жили в Окумаре-де-ла-Коста – небольшом городке в штате Арагуа на самом побережье рядом с пляжами Баия-де-Ката и Чорони, где лазурные волны накатывались на белоснежный песок. Окумаре отделяли от Каракаса мили и мили разрушенных дорог, которые понемногу становились совершенно непроезжими.

Моим теткам было под восемьдесят, и за всю свою жизнь они побывали в Каракасе только один раз. Амелия и Клара не покинули свой сонный омут даже для того, чтобы побывать на университетских выпускных торжествах мамы, а ведь она стала первой в семействе Фалькон, кто получил высшее образование. На фото, которые я много раз рассматривала, мама была снята в актовом зале Центрального университета Венесуэлы и выглядела очень красиво: глаза густо подведены, волосы с начесом выбились из-под академической шапочки, рука судорожно сжимает диплом, а улыбка выглядит несколько отрешенной, словно мама была в ярости, но старалась этого не показать. Эту фотографию она хранила вместе с академической справкой о присвоении ей степени бакалавра педагогики и вырезанной из «Эль Арагуэнью» (небольшой газетки, выходившей в Окумаре) заметкой, которую мои тетки отправили в редакцию, чтобы весь мир узнал: в семействе Фалькон наконец-то появился дипломированный специалист.

Теток мы навещали нечасто – один или два раза в год. В небольшом городке, где они жили, мы ездили в июле и в августе, или – иногда – на Светлую седмицу. Во время этих посещений мы обе работали в пансионе, который держали тетки, к тому же мама считала своим долгом хоть немного облегчить сестрам то финансовое бремя, которое они несли. Она всегда оставляла им какую-то сумму денег, а за это считала себя вправе «воспитывать» Клару и Амелию, упрекая одну за то, что она ест слишком много, а другую – за то, что она ест мало. Сестры в свою очередь угощали нас «роскошными» завтраками, от

которых у меня расстраивался желудок и которые состояли из говяжьего фарша в густом соусе, до хруста зажаренных шкурок окорока, переспелых помидоров, недозрелых авокадо и гуарапо – забродившего сока сахарного тростника с корицей, процеженного через тряпку. Тетки ходили за мной по пятам по всему дому, настойчиво пичкая этим напитком, от которого я несколько раз теряла сознание. Первым, что я слышала, приходя в себя, было их взволнованное кудахтанье.

– Если бы наша покойная мать увидела, какая ты худая и слабенькая – ну просто кожа да кости, она бы дала тебе три большие лепешки с салом и стояла рядом до тех пор, пока ты не съела бы их до последней крошки! – говорила мне тетя Амелия (та, которая была толстой) – Ну а ты куда смотришь?! – обращалась она к моей матери. – Ты что, ее совсем не кормишь, бедняжку? Она же у тебя тощая, как жареная селедка! А ну-ка, подожди немного, детка... – (Это снова мне.) – Я сейчас вернусь, ты только не двигайся, моя хорошая!..

– Оставь ребенка в покое, Амелия! – кричала из патио тетка Клара, где она курила и присматривала за своими манговыми деревьями. – Если тебе постоянно хочется есть, это не означает, что остальные тоже должны жрать без перерыва.

– Что вы там делаете, тетя? Идите сюда, мы как раз собираемся обедать!

– Сейчас, сейчас... Я хочу только убедиться, что эта шпана из соседнего дома не собирается снова сбивать мои манго удочкой. На днях они набрали почти три мешка, представляешь?..

– Ну вот и я... Смотри какие булочки! Скушай штучку, если больше не хочется, но имей в виду: я напекла их целую гору, – говорила тетя Амелия, возвращаясь из кухни с подносом жареных булочек-болло с начинкой из свиного фарша. – Давай, малышка, кушай скорее, не то они остынут.

Вымыв посуду, мама и обе ее сестры обычно сидели в патио и играли в бинго в окружении тучи mosquitos, которые вылетали на охоту в шесть часов – каждый вечер в одно и то же время. Обычно мы отгоняли их дымом, поднимавшимся от кучи сухого хвороста, который вспыхивал, стоило только поднести спичку. Сложив небольшой костер, мы придвигались к нему поближе и смотрели, как пламя становится все ярче, по мере того как опускается за горизонт вечернее солнце.

Потом одна из теток – иногда это была Клара, а иногда Амелия – поворачивалась в своем кресле из ротанга и, побряхтев немного, произносила магические слова: «Тот, Который Умер».

Речь шла о некоем студенте инженерного факультета. Он собирался жениться на моей матери, но мигом позабыл о своих намерениях, как только она сообщила, что ждет ребенка. Тетки вспоминали о нем с таким жгучим негодованием, что можно было подумать, будто их тоже кто-то бросил. О студенте они вспоминали гораздо чаще, чем мама, которая даже ни разу не назвала его при мне по имени. После того как он скрылся в неизвестном направлении, она ничего о нем не слышала – так, во всяком случае, говорила мне мама. Мне это казалось достаточно веской причиной не переживать по поводу его отсутствия. Если этот человек не желал ничего о нас знать, то почему мы должны были ожидать от него весточки?

Я никогда не считала нашу семью большой. Для меня семья состояла всего из двух человек – из мамы и меня самой. Нами и ограничивалось наше не слишком раскидистое семейное древо, зато вместе мы были как кеберлиния – колючее растение, способное расти где угодно. Мы были невысокими, жилистыми, сухими, так что нам, наверное, не было бы больно, если от нас отломать веточку или выдернуть с корнями. Мы были прекрасно приспособлены к тому, чтобы терпеть и выживать. Наш мир опирался только на нас двоих, и мы без труда удерживали его в равновесии. Все, что находилось за пределами нашей семьи из двух человек, было избыточным, необязательным, излишним и по этой причине ценилось не слишком высоко. Мы никого не ждали и ни к кому не привязывались. Мы существовали одна для другой, и этого было достаточно.

* * *

Полная катастрофа... Полная и окончательная.

Вот что я думала и чувствовала, когда набирала номер пансиона сестер Фалькон в день похорон мамы. Мои тетки не спешили брать трубку. Двум больным женщинам, живущим в большом старом доме, было нелегко добраться из патио в гостиную, где стоял небольшой телефон с прорезью для монет, которым, правда, уже давно никто не

пользовался. Пансион тетки держали на протяжении последних лет тридцати. За все это время они ничего в доме не меняли – даже, кажется, не красили его ни разу. Они были такими, мои тетки, – совсем как розовые табебуи на старых, потрескавшихся холстах, украшавших мохнатые от жира и копоты стены.

Я долго ждала, и наконец трубку все-таки взяли. Известие о смерти мамы повергло теток в глубокое уныние. Ни та ни другая почти ничего мне не сказали. Сначала я разговаривала с Кларой – с той, которая была худая, потом – с толстой Амелией. Обе велели мне отложить похороны по крайней мере на то время, которое могло им понадобится, чтобы сесть на ближайший автобус до Каракаса. Дорога от Окумаре до столицы занимала три часа, но это была дорога, изрытая ямами и кишевшая бандитами. Эти обстоятельства вкупе с их возрастом и болячками – у одной был диабет, другую мучил артрит – могли привести обеих к плачевному концу, и я приложила все силы, стараясь отговорить теток от поездки. Наконец я попрощалась, пообещав в самое ближайшее время навестить их (тут я солгала), чтобы мы могли вместе прочесть молитвы девятого дня в церкви Окумаре. Тетки нехотя согласились, и я повесила трубку. В одном я была твердо уверена: мир, который я знала, начал рушиться.

* * *

Примерно около полудня пришли две соседки из нашего дома, которые знали маму. Они выразили мне свои соболезнования и произнесли слова сочувствия, хотя это было так же бессмысленно, как кормить голубей хлебом. Мария – больничная медсестра, которая жила на шестом этаже, – тарыхтела что-то о жизни будущего века. Глория из квартиры на чердаке живо интересовалась, что же я буду делать теперь, когда я осталась «совсем одна». По ее мнению, моя квартира была слишком большой для одинокой бездетной женщины. По ее мнению – исходя из сложившихся обстоятельств, – мне следовало подумать о том, чтобы сдать хотя бы одну из комнат. Сейчас плату можно получить в американских долларах, говорила Глория, если, конечно, повезет. Судя по ее тону, сделать это было проще простого – нужно только найти респектабельных знакомых, готовых платить

хорошие деньги, и дело в шляпе. Чужим сдавать нельзя ни в коем случае – в наши дни развелось слишком много мошенников! Ну а поскольку одиночество никому не идет на пользу, твердила Глория, а я теперь совсем одна, с моей стороны было бы разумно окружить себя людьми, не так ли?.. Хотя бы на случай каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств. Ты наверняка знаешь кого-то, кому можно сдать комнату, не так ли, вопрошала она. Я думаю, что знаешь, а если не знаешь, то моя троюродная сестра как раз сейчас подыскивает жилье в городе. По-моему, это замечательная возможность, как тебе кажется? Она могла бы жить в одной квартире с тобой, а ты бы немного подзаработала. Отличная идея, правда?.. И так далее, и тому подобное. И все это говорилось над гробом моей матери, которая еще не остыла!

Отличная идея, Аделаида! Просто отличная!.. Ты наверняка потратилась и на врачей, и на похороны, и на место на кладбище, а при нынешней дороговизне... а при нынешней инфляции... Ну признайся, все это обошлось тебе в целое состояние, ведь так? Я думаю, у тебя остались кое-какие сбережения, но ведь твои тетки уже совсем старые и живут слишком далеко, так что тебе просто необходим еще какой-то источник дохода. В общем, я познакомлю тебя со своей троюродной сестрой, чтобы ты могла с пользой распорядиться лишней комнатой...

Глория не замолкала ни на секунду, но говорила только о деньгах. Глядя на ее крошечные крысиные глаза-бусинки, я поняла, что она намерена выжать из моей ситуации все, чтобы улучшить *свои* обстоятельства, с выгодой используя мои. И так жили теперь многие. Почти все. Мы без стеснения заглядывали в хлебную корзинку к соседям. Гадали, уж не принесли ли они из магазина что-нибудь дефицитное, и прикидывали, как можно достать что-то подобное для себя. Мы сделались любопытными и подозрительными, мы забыли о солидарности бедняков и выбрали для себя образ жизни мелких хищников. Схватить или украсть, утащить в нору и сожрать, пока не отняли, – таков стал с недавних пор наш *modus operandi*.

Два часа спустя Мария и Глория наконец ушли. Одной надоело слушать бестактные намеки, другую утомили тщетные попытки выяснить, как я намерена распорядиться оставшейся от мамы недвижимостью.

Я не удивлялась. Для многих из нас жизнь давно превратилась в постоянные охотничьи вылазки, после которых еще нужно было

ухитриться вернуться целым и невредимым. Мы занимались этим целыми днями, превратив добывание денег и продуктов в рутину.

Рутинной стало и погребение наших мертвецов.

– Аренда часовни будет стоить пять тысяч суверенных боливаров.

– То есть пять миллионов старых боливаров?

– Совершенно верно. – Сотрудник похоронного агентства слегка возвысил голос. – У вас есть свидетельство о смерти, поэтому с вас взяли меньше. Если бы свидетельства не было, вам пришлось бы заплатить семь тысяч новых боливаров, так как выдача такого документа агентством сопряжена с дополнительными расходами.

– Семь тысяч новых боливаров или семь миллионов старых?..

– Верно.

– Не многовато ли?.

– Так вы намерены воспользоваться нашими услугами или нет? –

В голосе клерка прозвучали нотки раздражения.

– А что, разве у меня есть выбор?

– Об этом судить только вам.

Оплатить отпевание и похороны оказалось намного сложнее, чем заплатить за последние дни маминого пребывания в больнице. Банковская система страны давно превратилась в фикцию. В похоронном агентстве не оказалось устройства для чтения кредитных карточек, банковские переводы здесь не принимали, а у меня оставалось слишком мало наличных, чтобы покрыть все расходы, которые, кстати, были почти в двести раз больше моей месячной зарплаты. Впрочем, даже если бы наличных у меня было достаточно, их у меня все равно бы не приняли – связываться с наличкой охотников не было. Деньги превратились в бесполезные бумажки, которые ничего не стоили. Чтобы купить любую мелочь – бутылку минеральной воды (если вам посчастливилось ее найти) или маленькую пачку жевательной резинки, которая стоила теперь в десять или двадцать раз дороже, чем раньше, – требовалось несколько пачек наличных. А чтобы, живя в большом городе, делать покупки постоянно, требовались уже не пачки, а самосвалы денег. За бутылку постного масла нужно было отдать две стопки банкнот по сто боливаров высотой чуть не до неба. За четверть кило сыра – три такие стопки. Национальная валюта превратилась в бесполезные бумажные небоскребы – еще недавно о подобном и подумать было невозможно,

но это было только начало. Всего пару месяцев спустя случилось обратное – все деньги неожиданно куда-то пропали, и у нас не осталось ничего, что можно было бы отдать за то небольшое, что еще можно было найти в магазинах.

В ситуации с похоронным агентством я выбрала самое простое решение. Достав из сумочки свою последнюю купюру в пятьдесят евро, которую я несколько месяцев назад купила на черном рынке, я протянула ее распорядителю, и тот вцепился в нее как ястреб. Глаза его вспыхнули изумлением и восторгом. Я знала, что он, скорее всего, обменяет ее по курсу в двадцать, а то и в тридцать раз выше официального, получив таким образом дополнительный барыш, но меня это не касалось. Эти пятьдесят евро составляли четверть того, что осталось от моих сбережений, которые я прятала в шкафу среди старого нижнего белья, надеясь таким образом провести возможных грабителей. Моя работа на одно мексиканское издательство, которое базировалось в Испании и расплачивалось европейской валютой, а также платежи за редактирование нескольких важных рукописей позволяли нам с мамой кое-как держаться, но в последние несколько недель нам приходилось нелегко. В клинике не было самых элементарных вещей, и нам приходилось покупать их самим: шприцы, физраствор, кислород, ушные палочки – все это можно было купить только за цену, втрое или вчетверо превышающую их стоимость. Похожая на мясника больничная сестра доставала их для нас по заоблачно высоким ценам, которые почти всегда оказывались выше, чем те, о которых мы условливались.

Мама угасала буквально на глазах, но медикаменты исчезали еще быстрее. Койку в палате, где кроме нее лежали еще три женщины, я застилала свежевystиранным бельем, которое каждый день приносила из дома, но уже к вечеру эти простыни и наволочки буквально пропитывались тлетворным больничным духом. В городе не осталось ни одной больницы, в которую не стояла бы длинная очередь пациентов. Люди заболели и умирали по мере того, как теряли голову от отчаяния. (О том, чтобы поместить маму в государственную лечебницу, я даже не задумывалась, ведь это означало бы просто оставить ее умирать в холодном темном коридоре вместе с прошитыми пулями преступниками и бандитами.) Наша жизнь, наши деньги, наши силы – все кончалось, и казалось, что даже дни стали короче. Выйти на

улицу после шести вечера означало подвергнуть свою жизнь нешуточной опасности. Убить могло все: шальная пуля, грабители, бандиты. Электричество часто отключали на несколько часов, и после заката город погружался в непроглядный мрак.

В два пополудни в часовне появились служащие похоронного агентства – двое крепких парней в черных костюмах из дешевой ткани. Они выволокли гроб наружу и погрузили в старенький «Форд Зефир», переделанный в катафалк. Я едва успела схватить венок и положить на гроб, чтобы всем было ясно: это моя мать, а не ящик с болонской колбасой. В городе, где люди умирали как во время чумной эпидемии, мама была всего лишь еще одним трупом – одним из многих. И парни из похоронного агентства обращались с ней точно так же, как и с десятками других мертвецов, не проявляя ни особого почтения, ни сочувствия.

Забравшись на пассажирское сиденье, я покосилась на водителя. У него были седые курчавые волосы и изрытая оспинами кожа, как у многих чернокожих мужчин.

– Куда едем? – спросил он. – На какое кладбище? Ла Гуарита?

Я кивнула, и больше мы не разговаривали. Окно в «Форде» было открыто, и меня обдавало горячим городским ветром, имевшим кислосладкий привкус апельсиновой кожуры, которая гниет на солнцепеке в старом пластиковом пакете.

Поездка по шоссе заняла намного больше времени, чем обычно. За последние пятьдесят лет население Каракаса выросло по меньшей мере втрое, и городские магистрали уже не справлялись с потоками транспорта. Рессоры «Форда» оказались слабоваты, и езда по неровному, в выбоинах асфальту очень скоро превратилась в пытку. Никаких ремней или креплений в машине не было, и мамин гроб подпрыгивал и болтался по грузовой части салона. Глядя в треснувшее зеркало заднего вида на дешевый фанерный гроб – гроб из досок я позволить себе не могла, – я думала о том, как бы мне хотелось устроить маме достойные похороны.

Должно быть, когда-то и она тоже частенько думала о чем-то подобном. Нет, не о моих похоронах разумеется... Я была совершенно уверена, что мама хотела бы покупать мне более красивые вещи, например – розовые с золотом коробочки для завтраков, с какими мои одноклассники приходили в школу каждый октябрь. Увы, вместо этого

мне приходилось пользоваться простым контейнером из мутно-синего пищевого пластика, который мама долго и тщательно мыла перед началом очередного учебного года. А еще она хотела бы, чтобы мы жили в большой красивой квартире в восточной части города, где перед каждым домом есть собственный ухоженный сад, а не в наших тесных, как птичья клетка, комнатенках на западной окраине. Я, впрочем, никогда не просила маму купить мне то, а не это, потому что знала, как много ей приходится работать, чтобы заработать на жизнь. Невозможно сосчитать, сколько частных уроков ей приходилось давать дополнительно, чтобы я могла учиться в хорошей школе или чтобы на мой день рождения всегда было вдоволь пирожных, конфет, желе и сладкой газировки, которую подавали к столу в пластиковых стаканчиках. Мама никогда не говорила мне, откуда берутся деньги. В этом не было необходимости, потому что я видела все собственными глазами.

Частные уроки мама давала каждую неделю по вторникам, средам и четвергам. Во время летних каникул она ежедневно работала с теми, кого в сентябре ожидали университетские экзамены. В четверть четвертого мама уже снимала с обеденного стола скатерть и раскладывала по столешнице карандаши, ластики, точилки, листы чистой бумаги, тарелку с печеньем, которое пекла Мария, графин с водой и два стакана. За годы через наш дом прошло множество детей – равнодушных, вялых, анемичных. Недокормленных, но располневших от шоколада и чипсов мальчиков и девочек, проводивших свое свободное время за телевизором в городе, который методично и равнодушно избавлялся от парков и детских площадок. Я и сама выросла в месте, где хватало ржавых горок и качелей, играть на которых все равно было нельзя: все боялись растущей преступности, но по сравнению с тем, что происходило сейчас, те времена можно было бы назвать идиллией.

Мама коротко рассказывала ученикам о подлежащем, о глаголе, о сказуемом, об обстоятельстве, о прямом и косвенном дополнении, а потом заставляла повторять правило снова и снова. Другого пути чему-то научить ребенка не существовало, но зачастую даже многократного повторения оказывалось недостаточно. Годы утренних школьных занятий, вечерних проверок домашних заданий, стопки написанных простым карандашом подготовительных экзаменационных работ

привели к тому, что мама испортила зрение. Под конец она уже почти не снимала очков с мутноватыми пластиковыми линзами, без которых практически ничего не видела. Даже ежедневную газету мама читала медленно, с трудом, однако до самого конца не бросала этого занятия. Ей казалось, что интеллигентный человек должен знать, что́ происходит в мире, в стране.

А Аделаида Фалькон была интеллигентной женщиной. И очень начитанной. В нашей домашней библиотеке было очень много книг, полученных по ежемесячной подписке «Круга чтения». В основном это была классика, в том числе современная, в серовато-синих переплетах, куда я частенько заглядывала, пока готовилась к выпускным экзаменам в университете. Книги подбирала и покупала мама, но я привыкла считать их своими. Эти толстые тома восхищали меня даже больше, чем розовые с золотом коробочки для завтраков в руках моих одноклассниц.

* * *

Когда мы приехали на кладбище, могила на двухместном участке – одно место для мамы, другое для меня – была уже выкопана. Этот участок мама купила много лет назад. Глядя на кучу свежей глины, я припомнила слова из рукописи Хуана Габриэля Вакесеса^[5], которую мне как-то довелось редактировать: «Каждый из нас принадлежит той земле, где погребены наши мертвые». И, глядя на неровно обстриженную траву вокруг могилы, я поняла, что моя мать, мой единственный дорогой покойник, накрепко привязала меня к земле, которая не только отторгала населявших ее людей, но и пожирала их с жадностью, которую нельзя было объяснить в пределах рационального мышления. Эта земля перестала быть страной. Теперь это была мясорубка.

Могильщики достали гроб из «Форда Зефир» и опустили его в могилу с помощью шкивов и скрепленных заклепками старых брезентовых ремней. Глядя на то, как они работают, я подумала, что с мамой, по крайней мере, не случится того, что произошло с моей бабушкой Консуэло. Когда она умерла, я была совсем маленькой, но похороны я помню до сих пор. Это было в Окумаре. День был жаркий

— куда более жаркий, чем сегодня, к тому же жара усугублялась соленой влажностью от близкого моря. Язык у меня жгло от гуарапо, который мои тетки заставляли меня пить в промежутках между положенными молитвами, и я боялась, как бы мне снова не отключиться. Могильщики опускали в яму бабушкин гроб с помощью двух разлохмаченных канатов. В какой-то момент гроб вдруг поехал в сторону, ударился о стенку ямы и открылся, словно фисташковый орех. От толчка бабушкин окоченевший труп ударился о стеклянное окно в крышке, и приехавшие на похороны родственники и знакомые, прервав молитву, дружно вскрикнули. Двое могильщиков помоложе попытались поправить тело и закрыть гроб, но это оказалось не так-то легко. Мои тетки бегали вокруг могилы кругами, хватались за голову и визгливо молились верховным святым католической церкви — святому Павлу, святому Петру, а также Непорочной Деве, Владычице Ангелов, Царице Патриархов, Исполнению Пророков, Царице Апостолов, Царице Мучеников и Исповедников, Покровительнице Дев и прочая и прочая. В общем, Пресвятая Богородица, моли Бога о нас...

Моя бабка, суховатая и суровая женщина, в изножье могилы которой какой-то шутник несколько месяцев спустя посадил острый перец чили, умерла в своей постели, громко взывая к восьми своим давно скончавшимся сестрам — к восьми старым женщинам, облаченным в черное с ног до головы. Бабушка отчетливо различала их силуэты за тонкой москитной сеткой, под пологом которой она лежала. Так рассказывала мне мама, которая в отличие от бабки в свои последние минуты не видела никаких родственников, которыми она могла бы руководить со своего трона из подушек и плевательниц. У мамы была только я.

Тем временем священник прочел по служебнику несколько молитв о упокоении души Аделаиды Фалькон. Могильщики вонзили лопаты в глину, предварительно перекрыв яму цементной плитой, которая должна была разделить нас с мамой, когда мы уже обе окажемся в земле под городом, в котором, казалось, даже цветы охотятся на тех, кто слабее. Через несколько минут все было кончено, и я, обернувшись, кивком попрощалась со священником и рабочими. Один из них, худой темнокожий парень с холодными змеиными глазами, кивнул в ответ и посоветовал не задерживаться у могилы. На этой неделе, сказал он, здесь произошло уже три вооруженных

ограбления, причем прямо во время похорон. А вам, наверное, не хотелось бы, чтобы вас кто-то испугал, добавил он, глядя на мои ноги.

Было ли это предупреждением или угрозой, я так и не поняла.

В конце концов я снова села в «Форд Зефир», но на душе у меня было беспокойно, и я все время оглядывалась назад. Я просто не могла оставить маму здесь одну. Я не могла уехать, зная, как быстро воры раскопают могилу, чтобы украсть ее очки, ее туфли или даже ее кости. Такие случаи повторялись все чаще и чаще, с тех пор как колдовство сделалось нашей национальной религией. Страна, терявшая зубы от голода, резала головы цыплятам и гадала на человеческих костях.

И тут, впервые за много месяцев, я заплакала. Я плакала всем телом, всем своим существом. Меня трясло от боли и страха. Я плакала по маме. По себе. По тому единому организму, которым мы были. По той незаконной стране, в которой, чуть только стемнеет, моя мертвая мать окажется во власти живых. Я плакала и думала о ее окоченевшем теле, погребенном в земле, которая никогда больше не узнает спокойствия и мира. Нет, мама, я не боялась умирать, но только потому, что я *уже* была мертва.

Наш участок находился довольно далеко от въездных ворот кладбища, и, чтобы поскорее вернуться на главную дорогу, мы поехали по одной из боковых дорожек, которая была лишь немногим лучше, чем козья тропа где-нибудь в горах. Крутые повороты. Ямы. То и дело попадающие под колеса крупные камни. Заросшие колеи. Не огражденные обрывы. «Форд» куда-то сворачивал, но я почти не следила за дорогой. Я отключилась от реальности, отгородилась от нее, и меня не волновало, что будет дальше. Либо мы полетим под откос и погибнем, либо нет.

В конце концов водитель снизил скорость и, подавшись вперед, склонился над лоснящимся, почерневшим рулем.

– Это еще что за новости?! – растерянно пробормотал он.

Я подняла голову. Препятствие, не дававшее нам проехать, походило на гигантский оползень, но состояло из множества припаркованных поперек дороги мотоциклов. Здесь их было два или три десятка, и они преграждали нам путь. Владельцы мотоциклов толпились неподалеку. Все они были одеты в красные рубашки, которые правительство раздавало в первые пять лет своего пребывания у власти. Это была униформа «коллективос» – Революционной

моторизированной пехоты, которую власть использовала для разгона недовольных, протестовавших против политики команданте-президента, как стали называть вождя Революции после четвертой победы на выборах. Со временем полномочия Революционной пехоты стали шире. Каждый, кто попадал в руки «коллективос», становился жертвой. Что конкретно могло произойти с тем или иным несчастным, зависело только от времени суток и от настроения патруля.

Когда деньги, предназначенные для финансирования Революционной пехоты, закончились, правительство решило поддержать «коллективос» другим способом. Они больше не получали «революционную» зарплату, зато им позволялось воровать и грабить без ограничений. Никто не имел права их трогать. Никто не мог их контролировать. В Революционную пехоту мог вступить каждый, кто не боялся смерти и был готов убивать. Впрочем, под этим названием действовало также немало групп, не имевших никакого отношения к созданной правительством организации; эти группы промышляли в основном тем, что собирали дань с предпринимателей в разных частях города. Обычно они ставили палатки где-нибудь на площади или на перекрестке и часами торчали рядом с ними, опираясь на свои мотоциклы и высматривая жертву, после чего запускали двигатели и мчались в погоню с оружием наготове.

Водитель и я не смотрели друг на друга. Банда впереди пока не заметила нашего присутствия. «Коллективос» сгруппировались вокруг импровизированного алтаря, сделанного из двух мотоциклов, на сиденьях которых стоял закрытый гроб. Собравшись в круг, они возлагали на гроб охапки цветов и, набрав в рот спиртного, орошали им свои приношения. Размахивая бутылками, они пили и плевали, пили и плевали – на гроб.

– Это бандиты, и они хоронят кого-то из своих, – тихо объяснил водитель. – Если ты верующая, тогда – молись. – И он рывком переключил рычаг коробки передач на задний ход.

За то время пока мы задним ходом карабкались обратно на склон холма, я успела рассмотреть, что происходит впереди. По-видимому, это была кульминация похорон. Какая-то молодая женщина, одетая в шорты, сандалии и красную рубаху и с тонким «крысиным хвостиком» на затылке, посадила на гроб девочку лет двенадцати, так что та оказалась верхом на крышке. Должно быть, это была дочь женщины –

я поняла это по тому хвастливому жесту, который она сделала, когда, задрав девочке юбчонку, принялась шлепать ее по задку, пока та ритмично двигалась под громкую музыку. От каждого шлепка девочка начинала дергаться и кривляться еще пуще, делая вид, будто танцует под музыку, несущуюся из динамиков трех автомобилей и микроавтобуса, стоявших чуть поодаль, на обочине дороги. «*Tumba-la-casa, tami, pero que-tumba-la-casa, tumba-la-casa* – ты должна разрушить этот дом, мама...» – гремел, сотрясая воздух, навязчивый реггетон^[6].

Никогда еще я не видела похорон, атмосфера которых была бы до такой степени пропитана грубым эротизмом. Девочка на гробе ритмично двигала тазом и бедрами, но ее лицо при этом совершенно ничего не выражало. Казалось, будто ей глубоко безразличны непристойные выкрики и жесты зрителей, безразличны даже шлепки матери, которая, словно на аукционе, предлагала свою дочь любому, кто больше заплатит. При каждом рывке маленьких бедер собравшиеся вокруг гроба мужчины и женщины облизывались и глотали слюни, глотали пиво и агуардиенте, орошали гроб спиртным и громко аплодировали. «Форд» отъехал уже довольно далеко, но я все равно успела рассмотреть вторую девочку – пухленькую малышку, – которая тоже уселась на гроб и принялась тереться промежностью о раскалившуюся на солнце латунную табличку на крышке, под которой неподвижно лежал разлагающийся труп.

В жаре и влажной духоте города, отделенного от моря высокой горой, каждая клеточка в теле умершего уже должна была начать гнить. Плоть разлагалась, раздувались животы, бродили и пенились мириадами пузырьков физиологические жидкости. Всего час-другой на солнце, и кожа буквально взрывалась пустулами, привлекавшими червей-трупоедов, которые живут в мертвых телах или копошатся в навозе.

Я снова посмотрела на девочку, которая все терлась и терлась своей мягкой, истекающей соком промежностью о то, что умерло и должно было вот-вот сделаться источником пищи для личинок и червей. Секс был последним подношением человеку, жизнь которого оборвала пуля. Движения маленького тела казались мольбой о зачатии, способном принести в мир отпрысков раздувшегося мертвеца – десятки, сотни людей, которые проживут очень недолго, как мухи или

личинки, которые живут и благоденствуют только благодаря чужим смертям. Мне тоже предстояло кормить своим телом этих мух и червей, потому что каждый из нас принадлежит той земле, где лежат наши мертвые.

Солнце давно перевалило за полдень, окружающий пейзаж плыл в потоках раскаленного воздуха, и над асфальтом поднялось дрожащее марево, в котором толпа собравшихся на дороге людей начинала смутно мерцать, словно решетка гриля, на которой смешались жизнь и смерть. Наш «Форд» перестал пятиться; мы отъехали уже достаточно далеко и свернули на другую тропу, которая оказалась еще хуже. Я, однако, почти не замечала неудобств. Сейчас я могла думать только о том моменте, когда солнце опустится за горизонт, и последний свет дня погаснет над холмом, где я оставила свою маму. Как только это произойдет, я снова умру – я знала это. В день похорон мамы я пережила множество смертей, от которых мне было уже не суждено оправиться. В этот день я осталась одна. У меня больше не было семьи. И я не сомневалась, что именно сегодня начался последний этап моей жизни, которую любой из тех, с кем я каждый день сталкивалась на улицах, прервет без колебаний – оборвет ударом мачете, кровью или огнем. Именно так обычно бывало в большом городе, который я когда-то любила.

* * *

Мне казалось, что трех картонных коробок хватит, чтобы уложить все оставшиеся от мамы вещи, но я ошиблась. Мне понадобилось еще несколько ящиков. Заглянув в буфет, я осмотрела все, что осталось от нашего севильского фарфора^[7]. Это был уже даже не сервиз, а несколько разрозненных тарелок, чашек и судков, которых едва хватило бы, чтобы подать суп, главное блюдо и десерт во время скромного обеда на три персоны. Особенно мне нравились тарелки: по ободу шел темно-красный растительный орнамент, а в центре размещался фрагмент сельского пейзажа. Не слишком роскошно, скорее – скромно, но со вкусом. Откуда они взялись и как попали в наш дом, я понятия не имела.

В истории нашей с мамой семьи не было свадеб, не было зарегистрированных браков, не было прабабок, говоривших с акцентом жителей Канарских островов или отличавшихся породистыми андалузскими лицами, которые на Светлой седмице потчевали бы нас поджаристыми гренками из пропитанного вином и облитого яйцами хлеба, выложенными на эти самые тарелки с затейливым пурпурным рисунком по краю. Обычно мы ели с них простые вареные или тушеные овощи, да изредка – жилистую цыплятину, которую мама подавала в полном молчании. Используя эти тарелки, мы никого не вспоминали, ничего не праздновали, никого не чтили. Мы взялись ниоткуда и не сохранили связи ни с кем. Незадолго до смерти мама сказала, что моя бабка Консуэло подарила ей этот сервиз из восемнадцати предметов, когда ей удалось наконец накопить достаточно денег, чтобы выкупить крошечную квартирку, которую мы прежде снимали. Что ж, подарок был вполне под стать крошечному, даже без собственного сада, королевству, которое основали мама и я.

Еще я узнала, что сервиз достался бабушке Консуэло от ее старшей сестры Берты – женщины с глазами как у индейца и очень темной, почти черной кожей, которая была замужем за неким Франсиско Родригесом. Он попросил ее руки через полгода после того, как приехал в Венесуэлу из Эстремадуры. Именно он, камень за камнем, кирпич за кирпичом, выстроил на жарком побережье Арагуа дом, ставший впоследствии пансионом сестер Фалькон. Когда он умер, прабабушку Берту стали называть «старой мусью». Всех европейцев, которые перебрались через океан в сороковых годах позапрошлого века, звали «мусью» – так в наших краях выговаривали французское «мосье». Как сказала мама, однажды ей довелось видеть единственную фотографию «Человека из Эстремадуры», сделанную в день его бракосочетания с Бертой Фалькон, которая с тех пор стала носить имя Берты Родригес. На снимке Франсиско выглядел очень большим и сильным и был одет в свой лучший воскресный костюм. Рядом с ним была запечатлена ослепительной красоты женщина смешанной расы – так, во всяком случае рассказывала мама. Сама я этой фотографии никогда не видела и не знала, что с ней стало.

Иными словами, мы с мамой пользовались тарелками давно умерших людей. Иногда я спрашивала себя, сколько обедов и ужинов прабабушка Берта приготовила и подала своему мужу на этих тарелках

за всю их совместную жизнь? И что именно она готовила? Придерживалась ли она меню, которое приходит на ум, когда представляешь грузную пожилую женщину, которая даже спала на кухне, пропахшей гвоздикой и корицей? Как бы там ни было на самом деле, глядя на эти тарелки, я понимала только одно: мы с мамой похожи только друг на друга и ни на кого больше. А это, в свою очередь, означало, что кровь, которая течет в моих венах, никогда не поможет мне освободиться. В стране, где все, буквально все приходились друг другу близкими или дальними родственниками, мы были едва ли не единственными, у кого не было многочисленной родни.

Земля, из которой мы вышли, существовала только в нашем прошлом.

Прежде чем завернуть сервиз в газету, я взглянула на сахарницу, стоявшую в глубине буфета на самой верхней полке. Мы никогда ею не пользовались. Ни еду, ни питье мы никогда не сластили. И мама, и я были сухими и жилистыми — совсем как деревья, занимавшие господствующее положение в патио пансиона сестер Фалькон. Дерево приносило очень темные, очень кислые плоды. Мы называли их «каменными сливами», потому что мякоти в них было очень мало, зато косточка была просто огромной. Ни у каких других фруктов не было таких косточек. Сливы напоминали неровную, грубую гальку, окруженную тонким слоем кислой мякоти, а росли они на невысоких, полужасохших деревьях, которые раз в году, поднатужась, совершали чудо, принося плоды, от которых и пошло их название.

Каменные сливы можно было встретить не только в патио пансиона Фалькон, но и на скудных солоноватых почвах вдоль всего побережья. Дети взбирались на их ветви и сидели там словно вороны, высасывая из слив то немного, что давала местная земля. Если наши поездки в Окумаре попадали на сезон сбора урожая, мы привозили домой два-три битком набитых мешка. Собирать самые спелые сливы обычно поручалось мне. Тетки готовили из них густой сладкий напиток — что-то вроде патоки. Всю ночь они вымачивали их в воде, а затем кипятили вместе с колотым тростниковым сахаром. Раствор в течение нескольких часов томился на медленном огне, пока не сгущался до консистенции сиропа. Годились для этого не всякие сливы, а только те, что полностью созрели и готовы были упасть с

веток на землю. Зеленые сливы было лучше вообще не трогать; те, которые еще не до конца созрели, тоже не подходили, потому что тогда сироп начинал горчить. Сливы нужно было рвать только совсем спелые – темно-красные, круглые и налившиеся.

Собирать сливы было делом медленным и скучным. И каждый раз тетки выдавали мне подробнейшие инструкции, что и как делать.

– Сдавливай их вот так... смотри...

– Если они достаточно мягкие, складывай их в мешок. Если жесткие – откладывай в сторону. Потом мы завернем их в газету, чтобы они дошли.

– Не дошли, а созрели. Объясняй как следует, Амелия, иначе она тебя просто не поймет. А ты – смотри не ешь слишком много, не то желудок расстроится.

– Возьми вот этот мешок.

– Да не этот, Амелия! Вон тот!..

Клара и Амелия говорили и говорили, перебивая друг друга. Я кивала, пока они не оставляли меня в покое. Тогда я выходила в патио, взбиралась на дерево и начинала обрывать сливы с ветвей. Одни отделялись легко, другие – с трудом, и мне приходилось их дергать и крутить. Закончив, я относила теткам самые спелые сливы, которые шли на приготовление сиропа, – они отправлялись в огромные котлы с сахаром. Я до сих пор помню поднимающиеся над ними клубы пара и размытые силуэты теток, которые всегда меня немного пугали, особенно когда эти крепкие женщины сыпали в котлы килограммы сахара и крепко размешивали большими деревянными ложками.

– Лучше уходи отсюда, детка. Если один из котлов опрокинется тебе на голову... – говорила одна.

– ...Будешь реветь до второго пришествия, – подхватывала другая.

Но я нарочно напрашивалась на эту воркотню, потому что она давала мне возможность ускользнуть обратно в сад, где была припрятана небольшая кучка самых лучших слив. Это была моя законная добыча.

Сидя на самой высокой ветке, я обсасывала сливу за сливой, тщательно обглаживая тощую мякоть, но как бы я ни старалась, на косточках всегда оставалось несколько кисловатых волокон. Да, есть каменные сливы было непросто, это занятие требовало упорства и труда. Сначала надо было прокусить твердую кожицу, а потом – грызть

и рвать кисло-сладкую мякоть зубами, пока они не начинали скрежетать по грубой поверхности косточки. Даже когда на ней уже не оставалось мякоти, я некоторое время гоняла косточку от одной щеки к другой, словно это была твердая карамель. Мама не раз пугала меня тем, что если я проглочу косточку, то внутри у меня вырастет дерево, но я не боялась – мне слишком нравилось чувствовать на языке ее скользкую кисловатую поверхность. Только когда во рту не оставалось никакого вкуса, я выплевывала обсосанную дочиста косточку, и та летела вниз словно мокрый снаряд, падая на землю далеко в стороне от цели – стаи тощих, облезлых собак, которые следили за каждым моим движением в надежде, что я поделюсь с ними своим полдником. Я размахивала руками, пытаюсь отогнать их, но тщетно. Собаки оставались неподвижны, как статуи, и только смотрели, как я ем. Глаза у них были как у потерявшегося пуделя.

Дерево, на котором росли каменные сливы, не раз являлось мне в моих снах. Иногда оно вырастало из городских сточных канав, иногда – из рукомойника в нашей квартире или из прачечной в пансионе Фалькон. Когда оно мне снилось, мне не хотелось просыпаться. Дерево из моих снов было гораздо красивее, чем в жизни, а его ветви буквально ломились от множества жемчужно-лиловых слив, которые иногда превращались в большие блестящие коконы, в которых спали крупные гусеницы – странно прекрасные и слегка отталкивающие. И еще они едва заметно шевелились. Так играли от напряжения мускулы на плечах двигавшихся по дороге напротив пансиона лошадей – огромных животных с разбитыми копытами, которые везли огромные повозки с какао и сахарным тростником на рынок, где их разгружали рабочие. Много в Окумаре делалось тогда по старинке, словно девятнадцатый век еще не закончился, а прогресс не вступил в свои права. Если бы не электрические фонари на улицах и не грузовики с рекламой пива «Поляр» на бортах, которые с пыhtением взбирались по проложенному через горы шоссе, никто бы и не подумал, что на дворе восьмидесятые годы века двадцатого.

Чтобы не забыть эти невероятные деревья, которые прорастали в моих снах, я старалась зарисовать их в блокноте для набросков, используя фиолетовый и розовый карандаши, которые нашлись в моем наборе из двадцати четырех цветов. С помощью точилки я крошила ластик и кончиками пальцев втирала эти крошки в рисунок, так что

вокруг личинок на моих деревьях появлялось что-то вроде размытого лилового ореола. На каждый рисунок я могла потратить несколько часов. Я создавала свои картины с теми же удовольствием и страстью, с какими когда-то обсасывала и грызла кислую, с жесткими прожилками, сливовую мякоть, вкус которой сохранился в моей памяти и по сей день.

Дерево в патио пансиона было моей территорией. Сидя на его верхней ветке, куда я взбиралась с ловкостью обезьяны, я чувствовала себя свободной. Эта часть моего детства не имела ничего общего с жутковатым городом, в котором я выросла и который с годами превратился в лабиринт заборов и замков. Нет, Каракас мне в общем-то нравился, но я все-таки предпочитала Окумаре, столицу москитов и сахарного тростника, грязным столичным мостовым, усыпанным гнилыми апельсинами и испещренным радужно-переливчатыми, как оперение попугая, пятнами машинного масла.

В Окумаре все было по-другому. Море... Все дело было в нем. Там оно исцеляло и исправляло ошибки, поглощало тела и выбрасывало обратно. Море пропитывало буквально все, с чем соприкасалось, и даже река Окумаре, которая по-прежнему в него впадает, не могла отогнать морскую соль достаточно далеко от берега. На берегу рос морской виноград. Из его кистей с редкими круглыми ягодами мама плела для меня короны, как у победительниц конкурса красоты, а я, приткнувшись в укромном уголке, грезилась наяву, украшая себя серьгами из жемчужно-лиловых гусениц, в которых превращались проникшие сквозь оболочку реальности каменные сливы моих сновидений.

* * *

На улице снова стреляли. Как и вчера, как и позавчера, как и три дня назад. Словно поток мутной воды, звуки выстрелов отделили похороны мамы от последующих дней. Когда раздался первый выстрел, я сидела в своей спальне за рабочим столом у окна. Машинально подняв голову, я увидела, что в окнах соседнего здания нет ни огонька. В этом не было ничего необычного, потому что электричество часто выключали по всему городу, но в моей квартире

свет был. В моей был, а в других не было, и это показалось мне странным. Что-то происходит, подумала я. Что-то происходит на улице. Протянув руку, я поспешно погасила лампу. И тут же в квартире этажом выше, где жили Рамона и Кармело, раздались грохот и стук. Падала, опрокидываясь, мебель. Столы и стулья перетаскивали с места на место с громким скрежетом. Придвинув к себе телефон, я набрала их номер, но никто не ответил. На улице продолжались хаос и ночь. Страна переживала черные дни, быть может – самые худшие со времен Федеральной войны^[8].

Наверное, ограбление, подумала я, но почему не слышно голосов? Почему никто не ругается, не кричит, не угрожает?.. Перейдя к окну гостиной, я осторожно выглянула наружу. Посреди улицы ярким пламенем горел мусорный контейнер. Ветер нес вдоль тротуаров обрывки банкнот, которые жгли окрестные жители – исхудавшие, покрытые сажей люди, которые собрались вместе и освещали город, предавая огню символы своей нищеты.

Я уже собиралась снова позвонить Рамоне, когда увидела внизу нескольких мужчин в форме военной разведки, которые выходили из подъезда нашего дома. Их было пятеро, и за плечом у каждого висела винтовка. Один тащил микроволновку, другой – настольный компьютер. У остальных в руках были чемоданы. Я так и не поняла, была ли это облава, или ограбление, или и то и другое. Мужчины погрузились в черный фургон и поехали в сторону Эскина-де-ла-Пелота. Когда они исчезли за поворотом на проспект, в соседнем доме вспыхнуло окно. За ним еще одно. И еще. И еще. Стена слепоты и молчания начала рассыпаться, и только взметенный фургоном вихрь пылающих банкнот все еще кружился на углу улицы.

Прежде чем наличные совершенно исчезли, революционное правительство объявило, что, согласно указу команданте-президента, старые бумажные деньги будут понемногу изыматься из обращения. Целью указа провозглашалась борьба с финансированием терроризма и экстремизма – или того, что руководство страны считало таковым, однако выпуск новых денег для замены старых не изменил ничего. Бумажки, которые вводились в обращение по указу сверху, не стоили ни гроша. Простая гигиеническая салфетка была теперь намного ценнее и полезнее, чем купюры в сто боливаров, груды которых

дотлевали сейчас на мостовых, словно предвещая времена еще более тяжелые и страшные.

Еды, которая хранилась у меня дома, могло хватить мне месяца на два. Запасать продукты мы с мамой начали несколько лет назад, когда по стране прокатилась первая волна грабежей, и с тех пор каждый месяц аккуратно пополняли нашу кладовку. Со временем грабежи и налеты стали явлением заурядным, почти привычным, но я была готова к борьбе за свою жизнь. Власти сами преподали нам несколько уроков выживания, которые я хорошо усвоила и использовала полученные знания на уровне инстинкта. Теперь меня не нужно было учить, что и как делать, – сама эпоха стала моим учителем. Нашим делом была война, о приближении которой мы знали задолго до того, как она началась. Мама стала одной из первых, кто провидел грядущие события. Годами она запасала продовольствие и самые необходимые вещи. Если мы нам удавалось купить три банки консервированного тунца, две мы откладывали на черный день. Мы набивали нашу кладовку, словно откармливая огромного тельца, чьей плотью в случае необходимости сможем питаться вечно.

* * *

Первый грабеж, который я запомнила, произошел в тот день, когда мне исполнилось десять. Тогда мы уже жили в западной части Каракаса и были, таким образом, до какой-то степени ограждены от жестокости и насилия, которые пышным цветом расцветали в других районах города. И тем не менее даже с нами могло случиться все, что угодно. Мучимые неуверенностью, мы с мамой смотрели, как отряды солдат шли и шли по направлению к дворцу Мирафлорес^[9], находившемуся всего в нескольких кварталах от нашего дома. Спустя несколько часов по телевизору показали, как толпы мужчин и женщин штурмуют магазины. Они были похожи на муравьев. На взбесившихся муравьев. Они мчались по улицам, не обращая внимания на пятна свежей крови на своей одежде. Некоторые тащили на плечах огромные оковалки говядины. Другие волокли телевизоры и другую электронику, которую вытаскивали через разбитые камнями витрины. На проспекте Сукре я видела мужчину, который толкал перед собой фортепиано.

В тот же день министр внутренних дел, выступавший по телевидению в прямом эфире, призвал горожан соблюдать спокойствие и порядок. Правительство сохраняет контроль над ситуацией, заверил он. Потом неожиданно возникла пауза, и на лице министра появилось выражение ужаса. Он посмотрел в одну сторону, в другую, потом вдруг спустился с трибуны, с которой обращался к народу, и пропал из кадра. Пустую трибуну показывали еще почти целую минуту. Это был ужасный символ, который со всей очевидностью доказывал: правительство больше *ничего* не контролирует, а спокойствию вместе с порядком пришел конец.

Страна коренным образом изменилась меньше чем за месяц. На улицах появились грузовики, груженные гробами; гробы стояли друг на друге, кое-как прихваченные веревками, а иногда и просто так. Еще какое-то время спустя в районе Ла Песте было найдено массовое захоронение. Несколько сотен людей, мужчин и женщин, застрелили, завернули в черные пластиковые мешки и закопали. Это была первая попытка Отцов Революции захватить власть и первые жертвы «социальных беспорядков», которые я помню.

На мой день рождения мама разогрела немного подсолнечного масла и испекла пирог из кукурузной муки, которому она попыталась придать форму сердца. Увы, в действительности этот знак любви имел форму почки; по краям он зажарился до золотистой корочки, но был достаточно мягким в середине. В пирог мама вставила крошечную розовую свечку и спела «*Ay que noche tan preciosa*» – более сложный и длинный венесуэльский вариант «С днем рождения тебя», который в отличие от английского оригинала продолжался полные десять минут. Потом мама разрезала пирог на четыре части и намазала каждую сливочном маслом. Мы ели молча, погасив свет и сев для безопасности на пол в гостиной. Еще до того, как мы отправились спать, раздавшаяся за окном стрельба прозвучала завершающим аккордом детского праздника, на котором не было даже традиционной пиньяты^[10].

– С днем рождения, Аделаида!..

А на следующее утро, в первое утро моего десятилетия, я встретила свою первую любовь. Во всяком случае, тогда я была уверена, что это моя первая настоящая любовь. Девочки в школе влюблялись в самых разных выдуманных персонажей:

в заколдованных и превращенных в крыс странствующих рыцарей, в принцев с изысканно-прекрасными лицами, которые не могли устоять перед чарующими звуками русалочьих песен на океанском берегу, в дровосеков, способных одним поцелуем разбудить светловолосых и губастых спящих красавиц. Мне эти выдуманные образчики мужественности были не интересны. Я влюбилась в *него*. В убитого солдата.

Насколько я помню, его портрет был напечатан на первой полосе «Эль Насьональ» – газеты, которую мама каждый день читала за завтраком от первой до последней страницы. Не было дня, когда она не покупала бы «Эль Насьональ», пока в стране еще оставалась бумага, чтобы ее печатать. Если газета выходила, мама непременно спускалась в киоск, чтобы купить свежий номер. В то утро она тоже принесла газету, а также три пачки сигарет, три спелых банана и бутылку воды (это было единственное, что нашлось в ближайшей продовольственной лавке, которая закрывалась, как только в районе начинали циркулировать слухи о появлении очередной шайки грабителей или мародеров).

Домой мама вернулась растрепанная и запыхавшаяся; сложенную газету она держала под мышкой. Бросив ее на стол, мама бросилась звонить сестрам. Пока она пыталась убедить их, что у нас все в порядке (хотя на самом деле это было совсем не так), я схватила газету и развернула на полу. Всю первую полосу занимала фотография, которая, по всей видимости, служила иллюстрацией к статье о попытках предотвратить национальную катастрофу с помощью военной силы. На фотографии был *он*. Молоденький солдат, лежащий в луже крови. Я наклонилась к самой газете, стараясь получше рассмотреть его лицо. Что ж, он действительно был молод и красив. Он лежал на обочине, а его голова безвольно откинулась назад и была повернута чуть-чуть в сторону. Лицо у него было худое и узкое, как у подростка, стальная каска сбилась, так что была видна простреленная голова. Так он и лежал – с черепом, раскрытым на две половинки, словно взрезанный фрукт. Сказочный принц с залитым кровью лицом.

Спустя несколько дней у меня начались первые месячные, но я стала взрослой еще раньше. Я стала женщиной благодаря спящему красавцу, к лицу которого пристали ошметки мозгов, вылетевших из его собственной простреленной головы. Мертвый солдат, разбудивший

во мне горе и любовь, которые с тех пор убивали меня изо дня в день, был моей последней детской куклой и моим первым любовником.

Да, уже в десять лет я начала влюбляться в призраков.

* * *

Упаковав остатки фарфора, я занялась домашней библиотекой. На обложках некоторых книг сохранились разноцветные кружочки, которые я в течение многих лет рисовала просто от скуки: безопасных парков, где я могла бы играть, в городе не осталось, и пока мама занималась с учениками подлежащими-сказуемыми-дополнениями, я коротала время за книгами. Получив строгий приказ никуда не выходить из дома, я брала несколько книг и садилась с ними в кухне. Иногда я читала, что было в них написано, иногда просто играла с ними. Открывая одну за другой баночки с темперой, я прижимала крышку к переплету, а потом любовалась на ровный цветной кружок. Действовала я без какой-либо системы. Например, на обложке «Обыкновенного убийства»^[11] я поставила оранжевый отпечаток только потому, что у него была ярко-красная обложка. Цыплячье-желтый кружок оттенял горчичный переплет «Осени патриарха»^[12], винно-красный – «По ком звонит колокол». Теперь почти на каждой книге виднелся кружок того или иного цвета. Можно было подумать, будто я ставлю на них клеймо, как на коров или лошадей, и отпускаю пастись дальше. Ну почему, – уж если наши грехи не изгладились с годами, – почему хотя бы эти знаки не выцвели и не исчезли с обложек, размышляла я, сжимая в руке «Зеленый дом»^[13].

Разобравшись с книгами, я открыла мамин гардероб. Там, на нижней полке, стояли в ряд ее туфли тридцать шестого размера. Разобранные по парам, они походили на взвод усталых солдат. Некоторое время я разглядывала пояса и ремешки, которые когда-то подчеркивали мамину тонкую талию, и развешенные по «плечикам» платья. У мамы никогда не было кричаще-ярких или чересчур роскошных вещей – ее одежда выглядела скромно, почти аскетично. Впрочем, она и сама была человеком до крайности сдержанным, не любящим демонстрировать свои чувства. К примеру, мама никогда не плакала, и все же когда она обнимала меня, я чувствовала себя как в

раю. Я как будто снова возвращалась в надежную и безопасную материнскую утробу, где так уютно пахло сигаретным дымом и увлажняющим кремом: мама курила и ухаживала за своей кожей с одинаковой самоотдачей. Курить и следить за внешностью мама приучилась в университетском общежитии для девушек, в котором прожила пять лет. С тех пор даже за чтением, а читала она постоянно, мама либо накладывала на щеки специальный крем, либо курила одну сигарету за другой. О годах учебы она вспоминала с мечтательной улыбкой, называя это время лучшей порой своей жизни. Но каждый раз, когда мама заговаривала об этом, я невольно спрашивала себя, неужели лучшая пора маминой жизни закончилась, когда у нее появилась я?..

Роясь в глубине платяного шкафа, я обнаружила мамину блузку с узором в виде бабочек-монархов, обшитую черными и золотыми блестками. Эту блузку я обожала. Каждый раз, когда я снимала ее с «плечиков» и держала в руках, наш с мамой крошечный мирок площадью в несколько квадратных метров до краев наполнялся волшебством. Блузка с бабочками и блестками была реальным воплощением тех сверкающих коконов, которые виделась мне в снах – сказочная одежда, явившаяся из иного мира. В нашем мире просто не было таких красок и таких тканей.

Сейчас я разложила блузку на кровати, задумавшись о том, почему мама ее купила. Насколько я помнила, она ни разу ее не надевала. «Как я могу выйти из дома в таком виде в восемь часов утра?» – говорила она, если я предлагала ей надеть блузку на собрание родительского комитета. И как я ее ни упрашивала, мама так ни разу и не пошла в школу в этой блузке.

Я училась в школе, в которой всем заправляли монахини. В другую, более престижную школу меня не приняли, потому что на предварительном собеседовании директор узнал, что мама не является ни замужней женщиной, ни вдовой. И хотя об этом случае она никогда со мной не разговаривала, со временем я стала воспринимать его как первый симптом врожденной болезни, которая в те годы поразила средний класс. Причиной болезни был нелепый снобизм белых венесуэльцев девятнадцатого столетия, наложившийся на хаос современного смешанного расового общества, сформировавшегося в стране, где слишком многие женщины воспитывали детей в одиночку,

поскольку мужчины, решив исчезнуть раз и навсегда, зачастую даже не давали себе труда притвориться, будто пошли за сигаретами. Принадлежность к неполной семье становилась частью наказания. Камнем преткновения на и без того крутой социальной лестнице.

Так сложилась, что я росла среди дочерей иммигрантов. Среди девочек с темной кожей и светлыми глазами. Столетия беспорядочных постельных утех привели к появлению очень необычной нации метисов – прекрасной в своем разнообразии, щедрой на красоту и жестокость. Этих двух качеств в стране всегда было в избытке. С самого начала своего существования Венесуэла оказалась стоящей на шатком и ненадежном основании – на сложенном из противоречий утесе, который каждую минуту готов был обрушиться, похоронив под обломками тех, кто имел неосторожность заселить его вершину.

Моя школа хоть и не была элитарной, все же навязывала обучаемым некоторые ограничения и правила поведения, не существовавшие в обществе за ее стенами. Со временем мне стало понятно, что подобная позиция порождала лишь еще большее зло: школы, подобные моей, поставляли материал для построения в стране декоративной республики. Одним из наименее вопиющих пороков выпускников таких школ было легкомыслие, граничащее с инфантильностью. Никто не хотел взрослеть, никто не хотел казаться бедным. Ни скрыть этот недостаток, ни хотя бы замаскировать его было невозможно. Выглядеть тем, кем ты не являешься, – это занятие превратилось в национальный спорт народа Венесуэлы. Наплевать, что нет денег, наплевать, что страна разваливается; важно только одно – выглядеть красивой, стремиться к славе, быть королевой или мисс чего угодно – карнавала, красоты, города, страны... Быть самой высокой, самой очаровательной, самой безумной. И даже сейчас, несмотря на охватившую город повальную нищету, я все еще замечаю следы этой болезни. Такой наша иерархия ценностей была всегда – «царем горы» неизменно оказывался самый лихой или самый привлекательный мужчина, либо самая красивая женщина. Именно этот порядок вещей привел нас к апофеозу банальности и пошлости. Когда-то это могло сойти нам с рук. Нефтяные запасы страны были неисчерпаемыми, и мы без особого напряжения оплачивали любые счета. Нам казалось, что так будет продолжаться вечно. Но это только казалось.

Я вышла из дома. Мне нужны были гигиенические прокладки. Я могла жить без сахара, без кофе и без кулинарного жира, но не без прокладок. Они ценились даже больше, чем туалетная бумага. За них мне пришлось как следует заплатить женщинам, сумевшим наложить лапы на те несколько упаковок, которые каким-то чудом все же добрались до универмага. Таких женщин в городе прозвали *бачакерас*, потому что после них не оставалось ровным счетом ничего ценного, как не оставалось ничего после муравьев-листорезов, от которых и происходило это название. Объединившись в небольшие группы, женщины обходили окрестные магазины, с жадностью набрасываясь на любые товары. Они первыми появлялись в универмагах, когда там «выбрасывали» очередной дефицит, и знали, как обойти нормы, введенные на рационированные товары. Завладев тем, что предназначалось нам, бачакерас перепродавали дефицит по завышенным ценам. Каждый, кто был готов платить втрое больше официальной цены, мог получить все, что угодно. Я была готова – другого выхода просто не оставалось. Три толстые пачки купюр по сто боливаров лежали у меня в пластиковом пакете. За них я получила упаковку гигиенических прокладок – двадцать штук. Даже за месячные мне приходилось платить втридорога.

В последнее время я ограничивала себя буквально во всем, лишь бы не нужно было лишний раз выходить из дома и иметь дело со спекулянтками-бачакерас. Впрочем, единственным, в чем я действительно нуждалась, была тишина. Даже окна в своей квартире я не открывала, и дело было не в звуках стрельбы, точнее – не только в них. Для подавления протестов и разгона людей, выступавших против мер по рационированию самого необходимого, сторонники Революции использовали слезоточивый газ, который проникал повсюду. От одного только его запаха меня начинало жестоко тошнить – до головокружения, до обморока. Все окна в квартире я давно заклеила липкой лентой, оставив только форточки в ванной и в кухне, потому что они выходили не на улицу, а во двор. Щели в рамах я заткнула ватой, чтобы ничто не могло проникнуть в мой дом снаружи.

Единственной моей связью с внешним миром был телефон, но я отвечала только на звонки из издательства, руководство которого из

уважения к моей потере сдвинуло сроки сдачи очередной рукописи на неделю. Я действительно запаздывала с редактированием верстки на несколько дней. В моих интересах было как можно скорее выставить издательству счет за выполненную работу, но я не могла заставить себя снова засесть за редактуру. Мне нужны были деньги, но я все равно не могла их получить. Компьютерные сети, обеспечивающие банковские переводы, не работали. Интернет еле-еле тянул, скорость была мала, да и отключался он по несколько раз за вечер. Почти все боли́вары, которые лежали у меня на сберегательном счете, я потратила на мамино лечение. От денег, которые я успела получить за редакторскую работу, тоже оставалось немного, к тому же с ними была еще одна проблема. Указом революционного правительства вся иностранная валюта была объявлена вне закона. Обладание американскими долларами или евро приравнялось к государственной измене.

Включив телефон, я увидела на нем три сообщения. Все были от Аны. В одном она интересовалась, как у меня дела, два других были из тех, что по умолчанию рассылаются по всему списку абонентов, номера которых хранятся в памяти телефона. В обоих говорилось, что о Сантьяго по-прежнему нет никаких известий, в обоих содержалась просьба подписать петицию о его освобождении.

Перезванивать Ане я не стала. Я все равно не могла ничего для нее сделать – как и она для меня. Не то чтобы мы не хотели... Как и вся остальная страна, мы были обречены стать чужими для самых близких людей. Виноват в этом был комплекс вины, который отягощает выживших. И даже те, кто сумел покинуть страну, тоже несли на своих плечах бремя вины и стыда, поскольку бегство от страданий было всего лишь еще одной разновидностью предательства.

На это и опиралась власть Сынов Революции. Они поделили нас на тех, кто обогатился, и тех, кто потерял все. На тех, кто уехал, и тех, кто остался, на тех, кто смирился, и тех, кто продолжал борьбу, несмотря ни на что. На тех, кому можно доверять и кому нельзя. Внушая нам чувство вины, они вбивали еще один клин в народ, который их стараниями и так уже дошел до последнего предела. Мне, как и многим, приходилось нелегко, но если я и была в чем-то уверена, так это в том, что мое положение могло быть и хуже. Гораздо хуже. Смерть еще не вцепилась в меня своей мертвой хваткой; я была жива,

и этого хватало, чтобы заставить меня молчать хотя бы из чувства благодарности.

* * *

В самый разгар ночной стрельбы я вдруг сообразила, что уже давно не слышала, как срабатывает спуск в туалете моей соседки. Я не видела Аврору Перальту с тех самых пор, как мама легла в клинику, но я ее *слышала* – ночь за ночью за стеной моей спальни раздавались раздражающий звяк длинной металлической цепи о старинный чугунный бачок и рев спускаемой воды, которые будили меня, вторгаясь в мои сны. И вот это прекратилось, но вместо облегчения я испытала тревогу. Что могло с ней случиться?..

Об Авроре я знала очень мало, практически ничего. Она была нелюдимой, застенчивой, неряшливо одетой женщиной, которую все называли «испанской дочерью». Ее мать Хулия действительно была родом из Галисии^[14]. В одном из районов Каракаса – в Ла Канделярии, где располагалось на удивление много баров, хозяевами которых были испанские иммигранты, Хулия держала кафе. Среди ее клиентов было немало галисийцев и иммигрантов с Канарских островов, а также несколько итальянцев.

Почти все клиенты были мужчинами. Они приходили в кафе Хулии и подолгу сидели там, лениво цедя пиво прямо из бутылок. Даже в самую жару они заказывали тушеный горошек со шпинатом, чечевицу с чорисо или телячий рубец с рисом. Кафе «Каса Перальта» было знаменито на весь город своим фирменным блюдом – мидиями с белой фасолью. И судя по количеству посетителей, известность оно приобрело вполне заслуженно.

Хулия была одной из тех бесчисленных испанских иммигранток, которые зарабатывали на жизнь тем же способом, каким они зарабатывали и до того, как перебрались в Венесуэлу. Среди них были поварихи, швеи, крестьянки, официантки, санитарки. В пятидесятых и шестидесятых многие устраивались экономками и домработницами к нашим местным толстосумам, некоторые открывали собственный бизнес – маленькие магазинчики или кафе. Чтобы выжить, они могли надеяться только на собственные руки. В город также приехало немало

испанских наборщиков, продавцов книг, даже несколько учителей. Очень скоро они стали частью нашей повседневности, и хотя поначалу их шепелявое испанское «с» резало нам слух, какое-то время спустя они усвоили и наше произношение.

Как и ее мать, Аврора Перальта зарабатывала на жизнь тем, что готовила для других. Задолго до смерти Хулии – и некоторое время после нее – Аврора управляла семейным кафе. Потом она продала его и занялась торговлей выпечкой, которую можно было вести из дома. Арендовать специальное помещение было слишком дорого и к тому же опасно: в любой день его могли ограбить и ободрать дочиста, а заодно – пристрелить того, кто имел доступ к кассе.

Аврора была старше меня всего на девять лет, но мне она казалась пожилой. Несколько раз она заходила к нам и приносила пирог, только что вынутый из духовки. Как в свое время ее мать, Аврора Перальта была человеком щедрым, хорошо относившимся к окружающим. И все же общего у нас с ней было, пожалуй, только одно: как и у меня, у Авроры не было отца. Так я, во всяком случае, решила, когда заметила, насколько жизнь, которую вели они с Хулией, похожа на нашу жизнь с мамой. Каждый день они начинали и заканчивали вместе, как мать и дочь, как две половинки одного целого. Именно поэтому, кстати, меня очень удивило, что Аврора не пришла на мамины поминки. Несколько раз, когда она по-соседски справлялась о ее здоровье, я рассказывала ей, как плохи мамины дела. Я ничего не скрывала, и мне казалось, что Аврора искренне нам сочувствует. Не исключено было, впрочем, что она и сама переживала не лучшее время из-за отсутствия в продаже яиц, муки и сахара, что, конечно, не могло не подорвать ее домашний бизнес. Возможно, думала я, Аврора даже вернулась в Испанию, если у нее остались там родственники.

Ну а потом я напрочь о ней забыла – выбросила ее из головы с такой же легкостью, с какой выбрасывают перегоревшую лампочку. Я была слишком погружена в свалившуюся на меня проблему – мне необходимо было довести до конца тяжелую, как беременность, работу по очередной перекройке собственной жизни, в которой мне помогала только мама, чье присутствие я по-прежнему ощущала рядом с собой. И ничего другого мне было не нужно. Я знала, что обо мне больше никто не будет заботиться, но и мне тоже не придется ни о ком тревожиться или переживать. А если станет хуже, я научусь ходить по

чужим головам. Либо я, либо они – и никак иначе. Я знала: во всей стране не сыщется ни одного человека, который будет достаточно великодушен, чтобы в решающий момент нанести мне «удар милосердия». Во всей стране больше нет никого, кто завяжет мне глаза и вставит в рот зажженную сигарету. Никто, никто не пожалеет меня и не прольет ни слезинки, когда пробьет мой час.

* * *

Наконец мамины вещи были убраны в коробки, которые я составила у стены библиотеки. Они выглядели как багаж, который за нашей спиной само Время собрало и уложило в дальнюю дорогу. В какой-то момент мне даже захотелось раздать соседям и друзьям вещи, которые были мне не нужны, но я пересилила себя. Я не оставлю этой обреченной стране ни одного бумажного листка, ни одного обрывка ткани, ни одной щепки. Так я решила.

Дни летели за днями, и в газетных заголовках все чаще упоминалось о новых, еще более многочисленных жертвах. Сыны Революции закручивали гайки. Они сознательно давали нам повод выйти на улицы, чтобы потом спонсируемые государством организации, самодеятельные «отряды самозащиты» и вооруженные бандиты могли расправиться с теми, кто не побоялся выразить свой протест. Эти люди, старательно закрывавшие лица масками и платками, действовали группами, весьма эффективно очищая улицы от недовольных. Даже у себя дома никто из нас не мог чувствовать себя в безопасности, но на улицах города, который превратился в первобытные джунгли, способы расправы с недовольными были доведены до невиданного совершенства. Единственным во всей стране социальным институтом, действовавшим гладко и без сбоев, была машина подавления. Убийства и грабежи перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Я видела, как с каждой прошедшей неделей они становились неотъемлемой частью повседневности, и царящие повсюду хаос, беспорядок и беззаконие, которые Революция пестовала и защищала, не могли скрыть стремительного роста насилия.

Добровольная милиция – те самые «отряды самозащиты» – формировалась из гражданских лиц и действовала при поддержке и

под покровительством полиции и регулярной армии. Местом их встреч была гора мусора на площади Команданте. Мы, однако, по-прежнему называли ее площадью Миранды, платя таким образом дань уважения единственному настоящему либералу, участнику Войны за независимость, который подобно десяткам других добрых и справедливых людей умер вдали от родины, отдав ей все, что у него было. Именно там, на площади Миранды, Сыны Революции решили организовать свой штаб. «Сыны?.. — думала я. — Скорее уж выблядки... Выблядки Революции!..» — Последние слова я пробормотала вслух, впервые заметив на углу улицы группу безобразно толстых женщин, одетых в красное. Они выглядели как члены одной семьи. Или скорее как гарем разжиревших нимф, как весталки, вооруженные ведрами с водой и палками — воплощенная женственность во всем ее великолепии и уродстве.

В первый день женщин сопровождал отряд солдат численностью в десять человек, которые были похожи друг на друга как две капли воды благодаря темным каскам и лицевым платкам с изображением оскалившегося черепа. Спустя несколько недель солдат стало больше. Прибывало и количество мотоциклистов-«коллективос». Отличить одних от других было почти невозможно. Все они одевались как полицейские из отрядов по борьбе с уличными беспорядками: нижняя часть лица закрыта платком с оскаленной челюстью, верхняя — шлемом с эластичным перфорированным забралом.

Хотела бы я знать, почему все эти люди так старались остаться неузнанными, если сила и закон все равно были на их стороне?

В отличие от солдат и «коллективос», женщины своих лиц не прятали. Я заметила, что они постоянно улыбаются, но их улыбки больше походили на собачий оскал. Да и сражались они более яростно, более непримиримо и жестоко. Они били жертв кулаками, ногами, палками от метел и швабр. Если им удавалось свалить противника, они волокли его по асфальту, осыпая ударами и попутно освобождая от всего ценного. Свою работу эти женщины выполняли с нескрываемым удовольствием, даже со смаком, хотя я никак не могла понять, сколько же им платят? Их ярость день ото дня разгоралась все сильнее, жестокость росла. Интересно было бы знать, сколько они все-таки получают за то, что днями напролет только и делают, что разбивают людям головы.

Никакого значения это, однако, не имело. Наши дни были сочтены в любом случае.

* * *

Последняя коробка свалилась с верхней полки гардероба, задев меня по лбу. Наклонившись, я подняла ее с пола. «Обувь Тесео», – прочла я на крышке. Моей маме нравились эти коробки. Они были прочными и изготавливались из плотного, высококачественного картона. Впрочем, в магазине «Тесео», названного так по имени владельца – итальянского иммигранта, чье красивое лицо в любой час дня выглядело так, словно искусный скульптор вырезал его из куска самого твердого мрамора, – качественным было все, да и цены были не слишком высокими.

«Ах, *carissima bambina!*» – воскликнул сеньор Тесео, ущипнув меня за щеки, отчего они покраснели, как спелые манго. Сколько я себя помнила, его манера говорить оставалась неизменной, представляя собой невообразимую смесь итальянского и испанского, который он коверкал самым фантастическим образом, хотя и прожил в Венесуэле больше двух десятков лет.

Люди звали его сеньор Тесео, словно что-то в его внешности не позволяло им обращаться к нему просто по имени. Он был высок ростом и обладал светло-серыми глазами и располагающей улыбкой, обнажавшей крупные белые зубы почти квадратной формы. В свои без малого пятьдесят сеньор Тесео отличался очень мужественной внешностью – прямым, как у статуи, носом, мощным подбородком и густыми черными волосами, которые он укладывал с помощью геля. От сеньора Тесео неизменно пахло дорогим парфюмом, а циферблат часов, которые он носил, был почти с ладонь шириной. Я не преувеличу, если скажу, что ни разу не видела на его идеально отглаженных брюках и рубашке ни единой морщинки, ни единого пятнышка. Аккуратная одежда хозяина была под стать безупречной обстановке магазина, который находился на первом этаже построенного еще в пятидесятых здания с высокими потолками и гранитными мозаичными полами, которые волей-неволей внушали

почтение народу, еще не успевшему забыть времена, когда он состоял преимущественно из потомственных пастухов-ल्याнерос^[15].

Одним словом, магазин «Тесео» был наглядным воплощением прогресса, способом привести не знающую закона нацию к цивилизации.

«Обувь Тесео» располагалась прямо напротив многоквартирного дома, в котором мы с мамой тогда жили. Обстановка торгового зала была простой, но элегантной. На полу лежал бежевый ковер, а на полках стояли легкие кожаные мокасины и лодочки на шпильках. В застекленных витринах были выставлены разнообразные аксессуары: блестящие стальные рожки, носки, подследники, щетки и обувные кремы. Особенно восхищал меня сверкающий начищенной медью кассовый аппарат, в который вставлялись бумажные рулончики и который потом со звоном выплевывал чеки и квитанции. И все же больше всего мне нравилось нечто совсем другое. Каждый раз, когда мы с мамой приходили в магазин «Тесео», мое внимание приковывала большая фотография Папы Иоанна Павла Второго, вывешенная над дверью складского помещения. Мне казалось – запечатленная на снимке сцена, на которой Папа пожимал руку молодому священнику в черной сутане, перенеслась сюда не только сквозь расстояние, но и сквозь время.

Пока мама просила показать ей туфли другого размера и пока сеньор Тесео обходил свои владения в поисках пары, которая пришлась бы ей впору, я разглядывала фотографию. Папа... Только подумать – сам Папа!.. Ах, если б только знать, что связывало всех верующих людей, сеньора Тесео и молодого священника в черной сутане с Великим Понтификом, Верховным Первосвященником Вселенской церкви и «единственным полномочным представителем Бога на земле» (это я цитирую одну из моих теток) – с тем самым человеком, который возглавлял каждую воскресную мессу на официальном католическом телеканале!.. (Тогда власти еще не объявили войну Церкви, а Сыны Революции еще не вошли в силу.) Наверное, этот снимок сделан в Ватикане, думала я. Как это далеко от нас!..

– Вы родственник Папы? – набравшись храбрости, спросила я у сеньора Тесео.

В ответ он от души рассмеялся, а потом объяснил, в чем дело. Молодого священника на снимке звали Паоло, и он приходился сеньору Тесео младшим братом. Фотография – увеличенная и помещенная в позолоченную рамку – запечатлела момент рукоположения Паоло в духовный сан.

Об этом факте итальянец сообщил особо торжественным тоном, словно сутана младшего брата и положение, которое он занимал в Ватикане, каким-то образом придавали особый вес ему самому, ставя его на более высокую ступень невидимой лестницы, протянувшейся от обувного магазина в захудалой стране третьего мира до сверкающих миров, в которых вращался теперь Паоло. Святой отец Паоло, если точнее... Именно этим, вероятно, и объяснялись утонченные манеры и приверженность прогрессу (вещественным воплощением которого служил его магазин), выделявшие сеньора Тесео среди других иммигрантов.

А иммигрантов было немало. Они приезжали в Каракас из Сантьяго, Мадрида, с Канарских островов, из Барселоны, Севильи, Неаполя, Берлина и других мест. Это были люди, о которых забыли в их собственных странах и которые жили теперь среди нас. Все они были «мусью» – все до единого. И только сеньор Тесео, казалось, не имел ничего общего ни с хлебопеками из Фуншала^[16], ни с садовниками с Мадейры или строительными рабочими из Неаполя. Это были люди с такими же большими и сильными руками, как у него, но, в отличие от сеньора Тесео, их ладони загрубели и потрескались от постоянной работы с землей, цементным раствором и мукой. Это были люди, которые тесали камень, пекли хлеб и строили город, который отчасти уже принадлежал им.

Иммигранты начали прибывать к нам еще в те времена, когда всё в Венесуэле еще только предстояло построить, сделать, организовать. Родные очаги, которые они оставили, лежали в руинах, и на улицах Каракаса зазвучали голоса чужеземцев, говоривших со странным акцентом, – голоса тех, кто пересек океан, на дальнем берегу которого каждый день кто-нибудь махал платком вслед уходящему кораблю. Эти голоса и незнакомые имена понемногу исчезали, растворяясь в привычном обращении «мой дорогой» или «моя дорогая», которое мы всегда использовали, а они в конце концов переняли. Иммигранты, приезжие влили новую кровь в жилы народа, который теперь включал

в себя и их, и нас. Мы стали тем, что мы понимали и ощущали как одно – как *sum total*^[17] двух берегов, между которыми пролегал океан.

– *Adelaida, mi amore*, – спросил меня сеньор Тесео на испанском своего собственного изобретения. – Скажи, почему тебе так нравится эта фотография?

– Потому что мне нравится Рим.

– А почему тебе нравится Рим?

– Потому что он находится по ту сторону океана, а я еще никогда не бывала за океаном.

В руках сеньор Тесео держал металлический рожок для обуви. Сейчас он со звоном упал на пол.

– По ту сторону океана... – повторил он вполголоса.

– Прошу прощения, сеньор Тесео, – проговорила мама, которая уже минут пять расхаживала из стороны в сторону перед низким зеркалом, примеряя очередную пару мягких темно-синих туфель. – Боюсь, мне все-таки нужен размер побольше. Правая немного жмет.

– Побольше так побольше, донья Аделаида, – отозвался сеньор Тесео. – Одну секундочку... *Dall'altro lato del mare*. По ту сторону океана... – И он исчез за дверью склада, но я слышала, как хозяин магазина еще несколько раз повторил эти слова.

Через минуту сеньор Тесео снова появился в торговом зале. В руке у него была еще одна пара туфель того же цвета и фасона, но на полразмера больше. Мама надела сначала левую, потом правую туфлю и снова принялась расхаживать по ковру перед зеркалом. Наконец она сняла туфли и, отставив в сторону, повернулась ко мне.

– Ну, что скажешь? – спросила она, глядя мне в глаза.

Я присвистнула (вышло довольно-таки глупо!) и показала маме два поднятых вверх больших пальца.

– Я беру, – сказала она, обращаясь к Тесео.

Итальянец воскликнул: «Браво!», прищелкнул пальцами и двинулся через зал к кассовому аппарату. Нажав несколько клавиш, чтобы пробить цену, он ткнул пальцем в кнопку, открывавшую низкий широкий ящик, в секциях которого лежали рассортированные по достоинству монеты и банкноты. Мама достала из сумочки две крупные бумажки и протянула Тесео, а он отсчитал ей сдачу: несколько зеленых банковских билетов достоинством по двадцать боливаров с портретом Хосе Антонио Паэса – лихого генерала времен

Войны за независимость, бывшего пастуха, который научился ценить музыку Вагнера.

– Если туфли все-таки окажутся не очень удобными, вы можете обменять их в любой момент, Аделаида, – сказал сеньор Тесео.

– Спасибо, – ответила мама. – Аделаида, дочка, попрощайся и пойдем.

– До свидания, сеньор.

– До свидания, малышка. И не забудь... *Dall'altro lato del mare*. – Он улыбнулся. – Повторяй за мной: *Dall'altro lato del mare*.

– *Dall'altro lato del mare*, – послушно повторила я, и сеньор Тесео снова улыбнулся, сверкнув крупными белыми зубами.

Взявшись за руки, мы вышли на улицу. В свободной руке мама держала коробку с туфлями; она не улыбалась, и я не могла отделаться от ощущения, что допустила какую-то ошибку.

– Аделаида, дочка, что ты сказала сеньору Тесео?

– *Dall'altro lato del mare*.

– А что *он* сказал тебе?

– То же самое.

– Но почему?!..

– Потому, мама, что он живет в двух местах одновременно. Его родные живут там, а он – здесь. Разве ты не видела фотографию молодого священника над дверью?

– И кто этот священник?..

– Его брат. Он работает в Ватикане и встречался с Папой.

Мама посмотрела на меня так, словно не видела в моих словах никакой логики.

– Ну как ты не понимаешь?!.. – воскликнула я. – В этом-то все и дело! У сеньора Тесео два дома. Один здесь, а другой – по другую сторону океана. На другом берегу. *Dall'altro lato del mare*. Ну, теперь понимаешь?!..

– Да, доча, теперь понимаю.

* * *

Я родилась и выросла в стране, которая давала приют множеству мужчин и женщин из других, порой очень дальних краев. Портные,

булочники, строители, водопроводчики, торговцы съезжались сюда в поисках лучшей жизни. Среди них были испанцы, португальцы, итальянцы и даже немцы, которые разъезжали по всей планете, снова и снова изобретая велосипед. Но теперь Каракас начал пустеть. Дети и внуки иммигрантов, чьи смуглые лица уже плохо сочетались с европейскими фамилиями, двигались через океан в обратную сторону, в страны, которые были населены чужими людьми, тоскуя по корням, по тому неуловимому ощущению, которое обычно называют «духом нации». В отличие от них у меня никаких корней по другую сторону океана не было.

Я открыла коробку с гордой надписью «Обувь Тесео». Внутри сверкала новенькой кожей еще не надеванная пара туфель.

* * *

Впереди меня две медсестры стремительно катили не застеленные простыней носилки, на которых лежал мужчина с несколькими пулевыми ранами.

– Быстрее! Быстрее! – кричали они. – С дороги! Он умирает!

Я почувствовала железистый запах крови. Это был не просто запах, это было предупреждение.

Я приехала в больницу «Сагарио», чтобы навести справки о Кларе Бальтасар, которая уже три недели подряд не появлялась в мэрии Каракаса, где она работала. Охранники на входе сообщили мне под большим секретом, что три неизвестные женщины схватили Клару в трех кварталах от мэрии, затолкали в джип с тонированными стеклами и увезли в неизвестном направлении. Три дня спустя жестоко избитую Клару нашли на пороге ее собственного дома, словно это было не окровавленное, изломанное тело, а записка с предупреждением. «В следующий раз она вообще не вернется» – вот что это означало. Нападавшие не стали ее убивать, сделав все, чтобы Клара мучилась как можно дольше. Сострадание как одна из форм жестокости...

«Обычное уличное преступление. И конечно, никто ничего не видел, никто ничего не слышал», – сказал мне охранник мэрии – плотный мужчина с небольшими, тщательно подстриженными

усиками и тонкими губами, которые он то и дело поджимал, демонстрируя ханжеское благоразумие и осторожность, свойственные многим моим согражданам. И каждый раз, когда он так делал, его рот становился похож на куриную гузку, выражая только страх и стыд.

Отыскать палату, в которой лежала Клара Бальтасар, оказалось нелегко. Медсестра, которая, похоже, не спала уже несколько дней, махнула в мою сторону стопкой пожелтевших больничных листков, которую держала в руках.

– Кого, вы говорите, вы ищете?

– Клару Бальтасар.

– Гм-м... – Сестра быстро перебирала листки. Через пару минут она сказала: – Сеньора Бальтасар в реанимации. Вы – родственница?..

– Нет.

– В таком случае вам туда нельзя.

– Скажите хотя бы, как она?..

– Я не имею права сообщать вам никакой информации.

– Но она... С ней очень плохо?

– Она жива, – бросила сестра и быстро пошла дальше по грязному коридору.

Все коридоры и лестницы больницы «Саграрио» были заполнены больными. Вялые, апатичные или просто измученные мужчины, женщины и дети ожидали приема... когда-нибудь... после дождика в четверг. Все они выглядели изможденными, худыми, истерзанными постоянным голодом; все были полны тяжелой, тупой яростью людей, давно забывших времена, когда им жилось лучше. Этих людей я мысленно поделила на три группы: одни ждали, когда их поставят на очередь на амбулаторное лечение, вторые нуждались в сложной операции, и наконец, третьи молча ждали, пока к ним подойдет врач или пока их перевезут из коридора, и без того переполненного пациентами, жившими здесь буквально неделями, в какое-нибудь более подходящее помещение, например – в палату.

В целом больница была намного хуже, чем частная клиника, в которой умерла моя мать. Полы были заплеваны, в воздухе плавала густая, навязчивая вонь, которую издавали тела заживо разлагающихся людей. То и дело по коридору проходила сестра с папкой, в которой лежали больничные карты, и громко вызывала больных: «Амадор Родригес... Кармен Перес... Амор Перналете...» Услышав свои имена,

люди поднимали руки. Другие вскакивали, чтобы потребовать объяснения, почему вызвали не их – ведь они пришли раньше. Многие и вовсе отчаялись; эти были хуже всего. Безразличные, вялые, они напоминали сломанные электроприборы. Они ждали своей очереди слишком долго – пять, семь, десять дней. «Возьмите талон». «Приходите завтра». «Нет, не сегодня, а завтра. Завтра, вам говорят!..» Замученные сестры в полинявших от бесчисленных стирок голубых халатах вновь усаживали пациентов на скамьи и приказывали ждать. Снова ждать. А ведь они уже ждали, ждали слишком долго. Теперь им оставалось только одно – умереть в ожидании.

– Мне обещали, что здесь-то будет побыстрее, – сказала какая-то женщина своей маленькой дочери.

Обещали... Нам *обещали*, что больше не будет коррупции и воровства. Что теперь все будет для народа. Что каждый будет жить в доме своей мечты и что ничего плохого с нами никогда больше не случится. *Они* не переставали раздавать обещания, которые никогда не исполняли. Мы просили о помощи, но нас не слышали, и наши безответные мольбы стихали, заглушенные питавшими их возмущением и обидой. Но Сыны Революции никогда не брали на себя ответственности. Ни за что. Если утром в булочной не было хлеба, виноват был булочник. Если в аптеке не оказывалось какого-то лекарства, пусть даже самой простой упаковки контрацептивов, виноват был аптекарь. Если вечером мы возвращались домой усталые и голодные, не сумев купить на ужин даже пары яиц, виноват был тот, кто купил яйца раньше нас. Голод рождал страх и ненависть. Очень скоро мы вдруг обнаружили, что начали желать зла не только палачам, но и жертвам. Отличить одних от других мы уже не могли, да и не хотели.

Опасное электричество копилось внутри нас. И вместе с ним росло желание расправиться с теми, кто нас угнетал, – оплевать солдата, приторговывавшего рационированными товарами, избить пронырливого спекулянта, который лишал нас законного литра молока, за которым мы каждый понедельник стояли в длинных очередях у дверей супермаркетов. Ужасные несчастья, о которых передавали по радио или по телевидению, делали нас счастливыми: мы радовались внезапной смерти одного из руководителей государства, утонувшего при невыясненных обстоятельствах в бурной реке на Центральном

равнинах, радовались гибели продажного прокурора, который взлетел на воздух вместе со своей роскошной машиной, стоило ему повернуть ключ в замке зажигания. Наша решимость получить свою часть награбленного была столь сильна, что мы почти позабыли о сострадании.

У всех нас – и у мужчин, и у женщин, ежедневно ведущих жестокую борьбу за существование, было одинаковое выражение лица. Именно такое выражение я стала со временем подмечать, когда утром подходила к зеркалу. Больше всего бросалась в глаза глубокая вертикальная складка между бровями, чуть выше переносицы. Ничего удивительного: мои дни были заполнены мелочами, которые приобретают огромное значение только во время войны, но не во время мира. Лекарства, ушные палочки, кислород для маски, грязные простыни, которые надо было стирать, тупые скальпели, туалетная бумага и прочее, и прочее... Ешь или умри, лечись или умри. Все остальное потеряло свое значение. Любой человек, оказавшийся в очереди перед тобой, казался потенциальным конкурентом, врагом, который получит больше тебя. Уцелевшие не на жизнь, а на смерть дрались за скудные остатки. Или за место, где можно умереть в городе, из которого не было выхода.

На седьмой этаж я поднялась пешком. Как и в маминой клинике, ни один лифт не работал. На каждой лестничной площадке я натыкалась на людей, которые умирали от несерьезных, но запущенных травм и болезней – на детей с загноившимися ссадинами на лбу, на стариков, у которых повысилось давление. И те и другие лежали бок о бок и слабели на глазах, сваленные в кучу, как ненужные отбросы.

В комнате ожидания отделения реанимации я застала двух женщин. Обе были примерно моего возраста, но выглядели значительно старше, словно состарились задолго до положенного срока. Обе сидели на синих пластиковых стульях. Рядом лежали на полу одеяла, свертки с продуктами в фольге, пакеты с чистыми простынями. Совсем как я несколько недель назад, они устроили здесь собственный полевой госпиталь – полевой госпиталь на войне без танков – и теперь беспомощно наблюдали за тем, как умирают их близкие люди. Я подошла к той из женщин, которая казалась помоложе

(вторая все равно спала, положив голову ей на плечо). Почему-то я решила, что они – сестры.

– Простите, вы случайно не дочь Клары Бальтасар?

– А вы кто? Что вам нужно?

– Меня зовут Аделаида Фалькон.

– М-м-м-м...

– Когда-то ваша мама помогла мне собрать денег, чтобы заплатить за лечение моей мамы. Я хотела поблагодарить ее и пошла в мэрию, но там мне сказали, что она здесь.

– Я не знаю... Ничего не знаю!

– Я просто хотела поблагодарить...

– Уходите! – Женщина поднялась со стула, разбудив сестру.

– В чем дело, Леда? Что случилось? Кто это? – Та потеряла глаза, прогоняя сон.

– Меня зовут Аделаида Фалькон. Ваша мать, Клара Бальтасар, однажды помогла мне с деньгами на лечение моей мамы, – повторила я.

– Уходите, пожалуйста! Мы ее не знаем. Мы не знаем никакой Клары Бальтасар.

– Я только хотела сообщить Кларе, что моя мама умерла. И передать ей это... – Я достала из сумки две упаковки антибиотиков.

Дочери Клары переглянулись. Они молчали, и я так же молча положила лекарства на соседнее кресло, повернулась и ушла.

Клара Бальтасар – соцработник, которая стояла в очередях вместо тех, кто не мог прийти в супермаркет в день, обозначенный в продуктовом талоне, – умерла или должна была вот-вот умереть после побоев, которые нанесли ей Сыны Революции в назидание другим. Я принесла ей оставшиеся от мамы лекарства. Это было все, что я могла для нее сделать.

Вниз тоже пришлось спускаться пешком. На первом этаже громко плакала женщина. Мужчина с огнестрельными ранами, которого я видела, когда пришла в больницу, был ее отцом. Он умер еще до того, как его доставили в операционную, и я подумала: они подсекают нас, как деревья. Они убивают нас, как бродячих собак.

За последние три дня я приходила сюда уже в пятый раз, но булочник держался так, словно видит меня в первый раз. Муки на этой неделе тоже не было, но рядом со мной две женщины волокли к выходу огромные мешки, в которых поместилось бы по несколько дневных норм, за которыми мы стояли в очереди несколько часов только для того, чтобы вернуться домой несолоно хлебавши. Да, эти женщины уносили буханки, предназначенные для других людей, которые неизменно оставались ни с чем, как бы долго они ни ждали, как бы рано ни поднялись.

Выйдя из булочной, я двинулась в направлении проспекта Баральт. По пути я вдруг начала думать о маленьких белых лягушках, которые во время сильного ветра нередко застревали в сетчатых дверях пансиона сестер Фалькон. Я всегда о них помнила, но сейчас они почему-то представились мне особенно живо. А ведь мы чем-то похожи, внезапно поняла я. И я, и они – просто маленькие особи женского пола с плохой кожей, которые угодили в самый центр урагана.

С трудом переставляя ноги от усталости, я добралась наконец до своей квартиры. Вставив ключ, я попыталась его повернуть, но замок заело. Я тянула и дергала, трясла дверь, нажимала на ручку и звенела решеткой смотрового «глазка», я не отступала, но все было тщетно. Только потом я заметила свежие царапины вокруг замочной скважины. Пока я отсутствовала, кто-то сменил замок.

Волна паники охватила меня. Я сразу подумала о циновках из пальмовых листьев, о ночлеге на улице, о мотоциклах, гробах, синяках, об избитых палками и ведрами с водой людях. Вслед за паникой пришел страх, который кольнул меня, словно острый шип кактуса. Я поняла, что отсутствовала слишком долго. Мой дом!.. *Они* давно хотели захватить все квартиры в нашем здании. *Они...* Я даже знала, кто это – они... Женщины, которые на протяжении нескольких недель собирались на площади Миранды, представляли собой передовой отряд вторжения. Я как-то не подумала об этом, и они застали меня врасплох.

– Твою мать!!!

Беспомощно оглядевшись, я машинально прижала руку к промежности. Джинсы были влажными. Огромным напряжением воли

я попыталась сдержать готовую хлынуть из меня мочу. Нужно успокоиться. Успокоиться и придумать хоть что-нибудь!

Стараясь дышать пореже, я опустила на четвереньки, чтобы заглянуть в щель под дверь. Любая движущаяся тень могла выдать находящегося внутри человека, но я не видела никаких теней и не слышала шагов. Сквозь щель пробивался только слабый дневной свет.

По-прежнему прижимая ладони к животу, я быстро спустилась на первый этаж и притаилась снаружи, поблизости от входной двери. Вскоре из-за угла появились несколько женщин. Их было пять. Обливаясь потом, они тащили какие-то мешки, коробки, палки от щеток и запечатанные пакеты с эмблемой Министерства продовольствия. Министерство было недавним изобретением Революции – через него правительство распределяло продукты в обмен на политическую лояльность.

Женщины вошли в подъезд – мой подъезд! – воспользовавшись ключом из большой связки, которую принесли с собой. Все они были одеты в красные рубахи – униформу гражданской милиции (похоже, им достался тук с самыми маленькими размерами), в тесные легинсы, туго обтягивавшие слоновьи ляжки, и пластмассовые шлепанцы. Кожа у всех пятерых была очень темной; жесткие курчавые волосы были зачесаны наверх, образуя что-то вроде бесформенной копны.

Стараясь не привлекать к себе внимания, я отступила в дальний угол палисадника перед домом, где росла хилая цезальпиния и топорщились несколько засохших папоротников. Прятаться не было особенного смысла, но мне все равно хотелось за чем-нибудь укрыться. Лицо у меня горело, нижнее белье, напротив, пропиталось холодным потом. Моча не желала удерживаться в мочевом пузыре и понемногу просачивалась наружу, усиливая ощущение беспомощности. Я была напугана и стыдилась собственного страха, который сделал меня безоружной.

В группе женщин не было явной предводительницы. Я, во всяком случае, не заметила, чтобы кто-то из них отдавал приказы остальным, но действовали они слаженно и быстро. Несмотря на это, им потребовалось без малого полчаса, чтобы снести и сложить у парадного все мешки, коробки и пакеты. Только после этого женщины прервали работу и расположились на отдых прямо на груде ящиков: одни сидели на них, другие – полулежали. Мне показалось, что они

никуда не спешат. Напротив, они явно убивали время. Кто-то пилился в смартфон, из которого доносилась громкая музыка, остальные болтали друг с другом о каких-то вещах, о которых я имела лишь самое смутное представление.

– Ты слыхала, этот Ройнер... как его... Ройнер Баринас опять поехал в Сан-Кристобаль.

– Зачем это?

– Ты что, совсем дура? Там можно загнать бензин гораздо дороже. За две бочки дают целую упаковку пива, представляешь? А еще он говорил – там конкуренция меньше, потому что наши, столичные, туда пока не добрались.

– Вот сукин сын! А как же мы?..

– Слушай, если будешь ругаться – я тебе всю рожу разобью.

– Ну ладно... ладно... А как решили с тем вонючкой из Негро-Примеро?

– Этот участок больше не числится за нами, так что забей.

– А почему?

– Мне-то откуда знать?

– Слушай, Фенди...

– Не Фенди, а Венди. Сколько раз тебе повторять?!..

– Ну хорошо, хорошо, Венди-Фуенди... Может позвонишь Генеральше, а?..

– Не дергайся, крошка. Генеральша сама решит, когда нам грузить все это.

– А что, черт побери, мы будем делать до тех пор?

– То же, что и всегда. Сидеть и сторожить.

Вокруг них грудami лежали ящики, палки, матрасы и почти два десятка пластиковых пакетов и картонных коробок с продуктами – все с государственным штампом и логотипом Министерства продовольствия. Те, кому предназначались эти продукты, были обязаны ходить на все митинги и демонстрации в поддержку Революции, а также исполнять кое-какие небольшие задания, например, доносить на соседей или даже создавать отряды и группы поддержки Революции. То, что поначалу было привилегией гражданских служащих, очень скоро превратилось в одну из форм пропаганды, а затем и в средство надзора и управления. Каждому, кто сотрудничал с властями, давали коробку или пакет с продуктами.

Продуктов, правда, было немного – литр пальмового масла, пакет макарон, маленький пакетик с кофе... Иногда, если очень повезет, в коробке оказывалась банка сардин или консервированной ветчины. И все же это была еда, а голод уже давно крепко держал нас за горло.

Женщины – все довольно монументальные (иссохших от голода я среди них не заметила) – сидели перед подъездом моего дома, пока у Венди не зазвонил телефон. Выслушав приказ, она с неожиданным проворством вскочила на ноги.

– Ну-ка, давайте, живенько собираем все это дерьмо!..

Явно стараясь не шуметь, женщины собрали коробки и пакеты и, держа их в руках, стали входить в подъезд. Электричества снова не было, поэтому подниматься вверх им пришлось не на лифте, а пешком. Я последовала за ними и, спрятавшись в нише мусороприемника, выждала, пока они не поднимутся по крайней мере на пару этажей. Снизу мне было мало что видно, но вскоре я поняла, что женщины достигли третьего этажа. Выглянув на улицу, я убедилась, что они не оставили внизу ничего, за чем им придется вернуться. Сделав несколько рейсов, женщины забрали все, и я, крадучись, тоже стала подниматься, с отвращением вдыхая висевший в воздухе уксусный запах их тел. Господи, как же они воняли!.. Хуже дальнобойщиков! Запах их пота казался мне очень резким и каким-то... порочным. Так могла бы пахнуть смесь лимона, лука и золы.

Когда женщины поднялись на мой, пятый, этаж, я принялась молиться, чтобы они шли дальше. Подкравшись к перилам лестницы так близко, как только осмелилась, я заглянула в щель между лестничными пролетами и убедилась, что мои самые худшие опасения сбылись. Женщины остановились перед дверью моей квартиры. И в одно мгновение мои слабые надежды улетучились без следа, как только они начали орать, требуя, чтобы кто-то, находящийся в квартире, открыл им дверь.

Женщинам понадобилось еще четверть часа, чтобы перенести коробки с площадки в квартиру. Они устали, они запыхались. Они подняли большой груз на пятый этаж – без лифта. И тем не менее мне едва хватило времени, чтобы подумать о том, как мне быть дальше. От жажды мой язык пересох и горел словно огнем, а мочевого пузырь готов был разорваться. Когда наверху наконец захлопнулась входная дверь, я крепко зажмурилась, стараясь собрать все оставшееся у меня

мужество (а его было немного), и преодолела два последних лестничных марша.

У дверей своей квартиры я нажала на кнопку звонка. Один, другой, третий раз... Мне не отвечали, и я, сообразив, что электричества по-прежнему нет, постучала по двери костяшками пальцев.

Прошла еще минута, прежде чем дверь отворилась. На пороге стояла женщина с волосами, кое-как собранными в неряшливый пучок. Она была в пластиковых шлепанцах, и я видела ее изъеденные ознобышами пальцы и выкрашенные кричаще-ярким лаком ногти.

На женщине была надета блузка моей матери с бабочками и блестками.

– Тебе чего? – спросила она, глядя на меня в упор.

– Я... я...

– Что – я?.. Ты кто вообще? Чего тебе надо?

– Я...

– Я поняла, что это ты. Дальше?..

– Я... мне...

Я никак не могла закончить начатое предложение. Потом перед глазами у меня потемнело, и я потеряла сознание.

* * *

– Ну, дочка, чем вы сегодня занимались?

– Я помогала чистить *ста́ву*, мама!

– Не «ста́ву», Аделаида. Бассейн. Это называется бассейн.

Речь шла о крошечном прудике с зеленоватой зацветшей водой и бетонными берегами, который находился на площадке для прогулок в моем детском саду в Каракасе. Но тогда для меня это была *ста́ва* – вещь настолько удивительная и прекрасная, что само слово казалось мне выдуманно специально для обозначения именно этого прудка́. Я даже иногда думала, что это единственная *ста́ва* в мире. Иногда вода в нем заполнялась личинками – верткими, подвижными, чуть светящимися. Бывало, весь получасовой перерыв в занятиях (в садике нас готовили к школе) я просиживала на нагретом солнцем бетоне, глядя, как они мельтешат в неподвижной воде.

– Аделаида, иди сюда! Ста́ва никуда от тебя не убежит!

Моя учительница Верóника была чилийкой. Она приехала в Каракас с мужем и двумя детьми. Однажды, добиваясь, чтобы мы доели наши завтраки и выпили утренний сок, Верóника сказала, что они всей семьей бежали от диктатуры Пиночета.

– А кто это – Пиночет? – спросила я, размахивая бутербродом с майонезом.

– Президент.

Это объяснение показалось мне непонятным. Какое отношение президент может иметь к тому, что кто-то вдруг, ни с того ни с сего, собирает вещи, чтобы навсегда уехать в другую страну?

На вид Верóника была ровесницей моей матери. У нее была светлая, чувствительная кожа, похожая на тонкую бумагу, а волосы, напротив, очень темные, и она стригла их совсем коротко. В ее сердце жила неизбывная печаль, которая прорывалась на поверхность лишь в особых случаях – например, когда мы раскладывали по порядку зубные щетки для детей, которые приходили в садик только после обеда, Верóника вдруг начинала негромко петь старинные песни о женщинах, которые тонут в океане. Но почти всегда это случалось, когда кто-нибудь из родителей спрашивал, как «дела» в Чили.

– Вы сами знаете, – отвечала Верóника. – Было плохо, а будет еще хуже.

Чаще всего с ней заговаривала мама Алисии – девочки, которая как две капли воды похожа на Хейди из мультфильма. Алисия была очень молчалива, потому что остальные дети смеялись над ее выговором, который представлял собой нечто среднее между аргентинским и венесуэльским. Каждый раз, когда кто-то пытался дразнить Алисию, она просто хватала обидчика за руку и впивалась в нее зубами. После каждого такого случая Верóника вызывала в сад мать Алисии, чтобы поговорить с ней о поведении дочери.

Обычно они беседовали минут двадцать-тридцать, а потом выходили во двор для прогулок. Мама Алисии двигалась изящной походкой профессиональной танцовщицы, которую только подчеркивала ее удивительная, яркая, невиданная мною раньше одежда. Чаще всего на ней было черное трико и пышная тонкая юбка, которую она слегка приподнимала, демонстрируя сверкающие туфли.

Ее черные волосы, собранные в тугий пучок, блестели на солнце, точно смазанные маслом.

Мать Алисии действительно была профессиональной балериной классического стиля, однако, как я узнала впоследствии, на жизнь она зарабатывала, танцуя в Балетной труппе Марджори Флорес, фольклорном ансамбле, исполнявшем номера из репертуара популярного в свое время «Сабадо Сенсасьональ» – эстрадного шоу, которое каждый воскресный вечер показывали по телевизору. Развлекательная программа включала всё: и талантливых детей, исполнявших песни и музыку, и эстрадных знаменитостей, которые гастролировали по всему миру. Заканчивалась программа в восемь, прямо перед ужином. И почти каждый раз мать Алисии появлялась в ней в танцевальных номерах. Она исполняла зажигательные соло, отбивала чечетку или танцевала хорошо^[18], во время которого ее легкие цветастые юбки так и развевались, а то – демонстрировала зрителям классическое танго, которому научилась в Аргентине. Так, во всяком случае, говорила нам Алисия. Ее отец, аргентинский журналист и редактор, познакомился с ее матерью во время гастрольной поездки Балетной труппы Марджори Флорес по Южному конусу^[19]. Вскоре они поженились и поселились в Буэнос-Айресе, сказала Алисия, но мне это было неинтересно. Я хотела говорить только о потрясающих юбках ее матери.

– Смотри, мама, смотри!.. Это она!

– Кто, Аделаида?

– Мама Алисии. Та самая, о которой я тебе рассказывала. Она танцует в «Балете Марджори Флорес»!

– Странное название для танцевального коллектива.

– Смотри, смотри скорее!..

– Подожди. Дай я надену очки...

Мы с мамой уселись перед телевизором и сидели как прикованные, пока она не появилась на экране – смуглая, с ослепительной белозубой улыбкой, очень похожая на настоящую венесуэлку и одетая в юбки, которые носят жительницы долины реки Арауки.

– Да, она очень красива, – подтвердила наконец мама. А потом в один прекрасный день купила билеты в городской театр, где должна была танцевать мама Алисии.

Спектакль мне очень понравился. К сожалению, моя мама так и не сумела разглядеть маму Алисии среди кордебалета белых лебедей, плавно скользивших в искусственном тумане, которым затянуло всю сцену. Она даже утверждала, что сегодня ее там не было. Мне же казалось, что я узнала маму Алисии – она была одной из четырех балерин, которые под звуки гобоя исполняли па-де-катр^[20].

В следующий понедельник моя мама преодолела свою всегдашнюю стеснительность и решила после занятий познакомиться с мамой Алисии. Мы подошли к ней вместе, держась за руки, и сказали, что ходили на «Лебединое озеро».

– Вы из Окумаре, а я – из Маракая, – сказала балерина.

– Они находятся недалеко друг от друга.

– Совсем рядом! К сожалению, я не бывала в Маракае после того, как вернулась из Аргентины.

– Из Аргентины?..

– Мой муж родом из Буэнос-Айреса. Мы долго жили там вместе, но в конце концов нам пришлось уехать.

Как раз в этот момент к нам подошла Верónica. Полуденное солнце ярко светило, и мы все – и Алисия со своей мамой, и я с моей – увидели, как вдруг вытянулось и побелело ее лицо.

– Вам ведь тоже пришлось уехать из Чили, правда? – мягко спросила мама Алисии.

– Да, пришлось, – тихо ответила Верónica.

Да, в детском саду мы все называли бассейн чилийским словом «ста́ва», а еще Верónica всегда говорила «там» вместо Чили или Сантьяго, словно подчеркивая, как далеко и как давно это было. «Там» означало прошлое. Время и место, которые Верónica и ее муж поклялись никогда больше не упоминать вслух. Вот только мне казалось, что от этого «там» отдает болью. Наверное, так болит отрезанная рука.

* * *

Я очнулась на площадке перед собственной дверью. Голова мучительно болела. Во рту я ощущала противный металлический привкус. Я прислушалась, но не слышала ни шагов, ни голосов.

Можно было подумать, что два десятка семей, живших в доме вместе со мной, куда-то исчезли, испарились.

Моя сумочка валялась рядом со мной. Она была открыта. Кто-то украл то небольшое, что в ней было, включая ключи и телефон. К счастью, документы по-прежнему лежали в кармашке портмоне, а вот деньги исчезли.

Как и следовало ожидать.

Из-за дверей квартиры вдруг раздался знакомый реггетон: «*Tumba-la-casa, tami, pero que-tumba-la-casa, tumba-la-casa – ты должна разрушить этот дом, мама!*» Я слышала его на кладбище, а теперь он доносился из-за дверей моей собственной квартиры, словно там шла вечеринка.

Я с трудом поднялась на ноги. В полутемном коридоре пахло потом и отбросами. Шагнув к двери, я постучала, но музыка гремела так громко, что я не услышала собственного стука. Я постучала сильнее. Ничего. В квартире кто-то громко смеялся, звенели стаканы, вилки, ножи. Я заколотила по двери ногами. На этот раз мне открыли, и я увидела ту же самую женщину, что и в первый раз. Она все еще была в маминой блузке с бабочками, которая туго обтягивала огромный отвислый живот. Все в женщине казалось чрезмерным – и полнота, и запах дешевых духов, к которому примешивалась вонь давно немытого тела. В ее казавшихся почти непристойными манерах, в каждом ее жесте и взгляде угадывалась привычка командовать, и я догадалась, что передо мной та самая Генеральша. Одна из предводительниц нищей и жестокой армии, которая подвергла разграблению захваченный город.

– Опять ты?!.. – Она оглядела меня с головы до ног. В руке Генеральша сжимала палку от швабры. – Что, очухалась?..

– Я...

– Да, я помню. Ты. Так что тебе, наконец, здесь надо?

– Это моя квартира. Я тут живу. Уходите отсюда, иначе я вызову полицию.

– Слушай, крошка, это ты сейчас башкой треснулась или просто от рождения тупая? Здесь *мы* власть. Власть, понимаешь ты это?..

Она говорила еще что-то, но я видела только, что в верхней челюсти у нее недостает левого клыка.

– Уходите отсюда, – повторила я.

– Если отсюда кто и уйдет, так это ты, а не я.

Я проигнорировала ее слова и попыталась заглянуть в квартиру. Генеральша схватила меня за локоть.

– Эй-эй-эй, потише! Сама знаешь, что может случиться, если ты слишком разволнуешься.

– Мне нужны мои книги, моя посуда и мои вещи.

Она оглядела меня тупым, равнодушным, как у теленка, взглядом. Не выпуская моей руки, Генеральша приподняла подол блузки, с которой посыпались блески, и я увидела револьвер. Он был заткнут за пояс легинсов, который так сильно сдавливал рыхлые бока Генеральши, что она напомнила мне оболочку сардельки, из которой выпирает сырой фарш.

– Видишь эту штуку, милая? – проговорила Генеральша, движением губ показывая на револьвер. – Если б я захотела, я могла бы засунуть его тебе в задницу и одним выстрелом разворотить тебе кишки. Слушай, может, мне так и сделать, а?.. Нет, пожалуй, не сегодня. Сегодня я добрая, и если ты уберешься подобру-поздорову и больше не будешь мне надоедать, я, так и быть, тебя не трону.

– Мне нужны мои книги, моя посуда и моя квартира. Верните мне мои вещи!

– Тебе нужны твои вещи? Ну подожди, сейчас ты их получишь... Венди, иди-ка сюда! – гаркнула она.

Из гостиной, волоча ноги, появилась Венди. Она была в коротко обрезанных джинсах, и я увидела, что ее бедра сплошь покрыты какими-то едва поджившими струпиями.

– Чего тут?

– Эта сеньорита говорит, что ей нужны какие-то книги и посуда. Она говорит, что это ее вещи. Сходи, принеси.

И Генеральша с вызовом посмотрела на меня. Отставив в сторону палку от швабры, она скрестила руки на груди, дожидаясь, пока Венди принесет мне мои вещи. Револьвер она оставила на виду, слегка завернув подол блузки и подсунув его под торчащую рукоять.

Минут через пять Венди вернулась. В руках она держала стопку из шести тарелок.

– Вот... И что теперь?..

– Дай мне. А теперь сходи за книгами, да поживее. Мы не можем ждать тебя весь день, да и сеньорита собирается уходить. Ведь ты

уйдешь, как только получишь свое барахло, не так ли?

И Генеральша, взяв у Венди стопку тарелок, сделала вид, будто хочет отдать их мне. Тарелок было гораздо меньше, чем оставалось в нашем с мамой сервизе.

— Здесь не всё. Где остальное?

— В чем дело, крошка? Ты еще жалуешься? На, забирай свои тарелки!..

Генеральша слегка разжала пальцы, и тарелки одна за другой полетели на гранитный пол. Трах! Трах! Трах! Каждая тарелка разлетелась на кусочки.

— Тебе нужны были твои тарелки? Так забирай!

— Там несколько тонн книг, я не могу перенести их все. Вот что я нашла... — Это сказала Венди, вновь появляясь в прихожей. В руках у нее было пять или шесть томов.

— Дай сюда, а сама отправляйся на кухню, — велела Генеральша. — Ну-ка, что тут у нас?.. — Забрав книги у подчиненной, она сделала драматическую паузу, делая вид, будто рассматривает корешки. — Так-так-так... Осень па... парти...

— «Осень патриарха».

— Тихо, дорогая моя, тихо! Или ты думаешь, что я не умею читать?

— Честно говоря, я так и думаю.

— Так вот, детка, я *умею*. И сейчас я тебе это докажу. Устрою маленькое представление специально для тебя. Я прочитаю тебе какое-нибудь стихотворение.

Она открыла книгу и, держа ее за крышки переплета, одним движением разорвала надвое. Корешок хрустнул в ее огромных руках, страницы посыпались, словно листья с дерева. Как ни странно, я не чувствовала ни досады, ни злости, только глубочайшую усталость. С меня было довольно.

Генеральша злорадно захохотала.

— Смотри, как я обошлась с твоими вещами! — воскликнула она, топча шлепанцами осколки севильских тарелок. — Вот что делает с нами *голод*, моя дорогая. А мы голодны. О-чень го-лод-ны! — Эти слова она произнесла раздельно, почти по слогам, явно желая придать им особое значение. Я знала эти слова — с их помощью команданте оправдывал все: и воровство этих женщин, и то, как он получал на

выборах их голоса: «Когда я приду к власти, – говорил он, – никто больше не будет воровать оттого, что он голоден!»

– ...Ты-то, конечно, не знаешь, что такое голод, – продолжала Генеральша. – Ты не знаешь, что это такое. А *мы* знаем. Вот так-то, детка. Го-лод... Мы очень голодны.

Она театрально рассмеялась, поглаживая револьвер.

– Теперь эта квартира наша, детка. Как и все остальное, она *всегда* была нашей, а ты отняла ее у нас.

Я посмотрела на разбитые тарелки, на рассыпавшиеся по полу страницы, на короткие толстые пальцы с обгрызенными до мяса ногтями, на шлепанцы, на бабочек на блузке моей матери. Потом я поглядела Генеральше в глаза, но она выдержала мой взгляд. По-видимому, она была очень довольна собой, и я снова почувствовала во рту металлический привкус.

И тогда я плюнула ей в лицо.

Генеральша отерлась рукавом и медленно, очень медленно потянулась к револьверу. Последним, что я запомнила, был тупой звук удара, когда рукоятка револьвера опустилась мне на голову.

* * *

Мы ели пережаренную курицу с маисовыми лепешками-хальякитас. В руках у нас были пластиковые вилки, а губы мы вытирали грубыми бумажными салфетками. Это был наш последний перекус перед возвращением в Каракас. Погода стояла жаркая, и цикады в кронах деревьев пели как сумасшедшие, стараясь вызвать дождь. В воздухе пахло бензином, пропаном, машинным маслом и свиными поджарками.

– Ты не хочешь отложить это яйцо даже для того, чтобы поесть? – насмешливо спросила мама. – Положи его на стол и покушай как следует. Ничего с ним не случится. И не забывай пользоваться вилок и салфетками.

– Если я положу его на стол, оно может покатиться и упасть. И тогда цыпленок внутри него умрет.

– Чтобы этот цыпленок наклюнулся, нужна температура, как у мамы-наседки. Он не вырастет, даже если ты будешь держать его в

руках.

– Нет, вырастет! И тогда у меня будет свой маленький желтенький цыпленочек, вот увидишь!

Я нехотя откусила кусочек лепешки, чтобы мама отстала. Потом мы собрали наши картонные тарелки и выбросили в мусорный контейнер, переполненный объедками свинины, кровяной колбасы и жареных бананов, которыми питались бездомные собаки. К автобусу нужно было идти мимо длинного ряда ларьков, где продавались запыленные и покрытые копотью мягкие игрушки, лотерейные билеты и кассеты с записями народной музыки. Мои ноги сами остановились перед прилавком с местными лакомствами. Мухи и осы так и вились над домашнего изготовления карамелью, кокосовыми конфетами, пюре из гуайявы и липкими рулетиками, истекавшими коричневой патокой.

– От этих сладостей у тебя выпадут все зубы, – сказала мама. – Кроме того, неизвестно, какой водой они пользуются и в каких условиях они все это изготавливают, – добавила она, пока я облизывалась, глядя на карамельный батончик в пластиковой обертке.

– Я не говорила, что я хочу это съесть. Я просто смотрю.

– Знаешь, давай сделаем вот как... Если ты оставишь свое яйцо здесь, я куплю тебе все, что ты захочешь. Ну, как?..

– Я его не брошу.

– Даже за карамель? Или за кокосовую конфету? Это очень вкусно, можешь мне поверить!

– Я не брошу своего цыпленка, мама.

– По дороге домой яйцо наверняка разобьется, и тогда ты пожалеешь. Ни за что ни про что останешься без сладостей.

– Мне не нужны сладости, я хочу цыпленка.

Мама протянула продавщице длинный зеленый бумажный прямоугольник – купюру достоинством в двадцать боли́варов. Не два миллиона, не двадцать новых боли́варов – тех, к которым впоследствии постоянно прибавляли новые нули, пытаясь скрыть, сколько они стоят на самом деле. Из всех денег, которые существовали до того, как к власти пришли Сыны Революции, банкноты в двадцать боли́варов нравились мне больше всего. В те благословенные времена двадцати боли́варов хватало на два или три сытных завтрака. На несколько килограммов чего угодно. Двадцать боли́варов были настоящим богатством.

– Одну кокосовую конфету, пожалуйста, – сказала мама беззубой продавщице, которая курила сигарету и пекла на большой сковороде кукурузные лепешки-арепас.

Взяв банкноту, женщина провела правой ладонью по покрытому блестящей испариной лбу, отложила деньги в сторону и ловко слепила из готовой массы большой кокосовый шарик. Положив его в пакет из плотной коричневой бумаги, она отсчитала сдачу и снова провела по лбу рукой. Вынув изо рта заслюнявленный окурок, продавщица выпустила клуб сизого дыма и снова сжала сигарету губами.

Мама отвернулась, посмотрела в потолок и чуть слышно скрипнула зубами.

– Если ты выбросишь свое яйцо до того, как мы сядем в автобус, я дам тебе откусить, – сказала она мне.

– Нет, не выброшу.

– Послушай, Аделаида! Ты же любишь кокосовые конфеты! Я отдам ее тебе в обмен на яйцо.

– Нет.

Мама убрала пакет в сумку и, схватив меня за руку, решительно двинулась к автобусу, который должен был доставить нас в Каракас. Отстояв небольшую очередь на посадку, мы сели на свои места, и мама, достав из сумки пакет, принялась громко причмокивать и облизываться.

– Ты только погляди, какая красивая конфета! А уж вкусная, наверное!..

Но я не сдавалась и не выпускала из рук яйцо, которое нашла на полу в курятнике пансиона сестер Фалькон. Мне очень хотелось посмотреть, как цыпленок пробьет скорлупу и выберется наружу.

За весь обратный путь не было сказано ни слова. Мама, утомившись, дремала, положив свою сумочку на колени. Я – маленький избалованный деспот – занимала кресло у окна, откуда мне были видны крошечные придорожные лавочки с их однообразным ассортиментом райских бананов, мандаринов и политых патокой пирожков из кассавы, а также цветы и распятия импровизированных святилищ, поставленных на местах, где кто-то когда-то расстался с жизнью в результате дорожной аварии. В этой стране, куда бы мы ни направились, мертвецы окружали нас со всех сторон.

Каждый район словно начерчен на земле линиями дорог, думала я. Привычными маршрутами, которые веками тянутся от краев к центру. Время от времени мы с мамой тоже ездили от побережья к горам, преодолевая несколько десятков километров дикой природы, которые отделяли одних людей от других. Сейчас мы пересекали равнины, засаженные сахарным тростником или заросшие розовыми и желтыми табебуйями, и молчали.

Я все еще держала в руках маленькое бледное яйцо. Я бережно сжимала его в ладонях, думая о том, что тепло моего тела и долгая поездка помогут развиваться внутри твердой скорлупы живому существу.

Мама проснулась, когда автобус уже сворачивал к посадочной платформе на автобусной станции Каракаса. За время нашего путешествия она как будто состарилась и поднялась со своего места с трудом, словно внутри ее что-то заржавело. Как и всегда, мама спросила, хочу ли я пить и не нужно ли мне в туалет. На оба вопроса я ответила отрицательно. Тогда она сняла с полки наши дорожные сумки, проверила, не забыли мы чего на сиденье, и поцеловала меня в пыльную макушку.

С трудом переставляя затекшие ноги и волоча за собой багаж, мы сошли с автобуса и сели в такси – древний «Додж» с разбитыми фарами и помятыми дверцами. В те времена их называли не такси, а «либре». Спустя какое-то время водитель высадил нас у подъезда нашего дома, и мама сама выгрузила наши вещи: небольшой чемодан и несколько сумок с каменными сливами. Расплачиваясь, она дала водителю смятую, старую купюру.

Лифта пришлось ждать. Наконец мы поднялись наверх по похожей на пищевод великана заржавленной и заросшей мохнатой пылью сетчатой шахте. В кабине мы тоже не разговаривали. Едва войдя в квартиру, мама сразу стала звонить теткам, чтобы сообщить о том, что мы добрались благополучно. Что касалось меня, то я была так увлечена яйцом, что забыла завязать шнурки туфель, и заметила это только сейчас. Впервые за весь день я на несколько мгновений выпустила яйцо из рук. Положив его на кухонный стол, я наклонилась и стала завязывать шнурки. Я как раз собиралась затянуть второй узел, когда яйцо вдруг покатилося по столешнице и упало на гранитную плитку пола рядом с моей левой ногой. В одно мгновение светло-

бежевая скорлупа разлетелась на тысячу кусочков. Белок забрызгал весь пол, а в размазанном по плитке желтке я увидела крошечную красную запяту.

Это был зародыш, которого я пыталась согреть своим теплом, но, как видно, мои руки ни на что путное негодились.

Как раз в этот момент мама вошла в кухню. Она увидела яйцо, увидела выражение моего лица и сразу все поняла. Не говоря ни слова, мама достала из сумочки кокосовую конфету в коричневом бумажном пакете. С отвращением взглянув на нее, она швырнула ее в мусорное ведро.

– Я включила нагреватель. Когда вода согреется – прими душ. Я сама все уберу.

И она занялась ликвидацией последствий катастрофы, а я отправилась в душ и выбрала мыло с ароматом жасмина. Я намылилась с ног до головы и стояла неподвижно, пока потоки теплой воды смывали с моей кожи проведенные в автобусе часы и напрасные ожидания.

* * *

Стежок ложится за стежком,
И новым станет платье.
Стежок ложится за стежком,
Отступят все несчастья...

Игла, вонзавшаяся в мою плоть, казалась раскаленной, и из моих глаз текли слезы.

Стежок ложится за стежком...

– Мне больно, Мария!.. Больно!.. Хватит, и так заживет.

– Даже не думай. Не кричи и не дергайся, Аделаида. И не мешай мне работать.

Прежде чем стать медицинской сестрой, Мария – соседка с шестого этажа – мечтала работать портнихой. Ее мать зарабатывала на жизнь тем, что шила платья или чинила старую одежду, которую приносили клиенты. Как утверждала Мария, вставляя хирургическую нить в ушко стерилизованной иглы, ее мать творила настоящие чудеса с помощью обычной иглки и ножниц.

– Я всегда хотела шить, как мама. Старые брюки она подрубала так же аккуратно и тщательно, как шила свадебные платья. Нет, ты только подумай! Правда, в те времена было так много магазинов, но...

– Мария, пожалуйста, хватит!.. Мне больно!

– Помнишь узкие маленькие переулки в Ла Пасторе? Помнишь или нет?

– Я помню, но мне действительно больно.

– В одном из них мама открыла мастерскую. Маленькое ателье, если точнее. И уже очень скоро у нее не было недостатка в клиентах. Особенно много было невест, которые приезжали на последнюю примерку буквально за день до бракосочетания...

– Пожалуйста, Мария!.. Достаточно!..

– Ничего не достаточно, дорогая. Лучше успокойся, замолчи и слушай. Так вот, если маме случалось что-то поправлять прямо на клиентке, она всегда повторяла этот стишок: «Стежок ложится за стежком...»

– Ай!..

– Не ори и слушай. Это очень интересная история. Ее стоит послушать. Так вот, мама говорила – есть такая примета: если зашиваешь что-то прямо на человеке, можно накликать беду. Он может заболеть и даже умереть. Это, конечно, предрассудок, какие в ходу только в деревнях, и все же... Так вот, когда мне случается наскоро зашивать дырку на брюках или пришивать пуговицу прямо на ком-нибудь, я всегда повторяю этот стишок:

Стежок ложится за стежком,
И новым станет платье.
Стежок ложится за стежком,
Отступят все несчастья...

А сейчас я именно этим и занимаюсь: зашиваю дырку, хоть и не на брюках, так что мамин стишок тут очень к месту. К тому же твою голову нельзя снять, чтобы зашить как следует.

– Мария, говорю тебе, мне *очень* больно!

– А ну-ка, сожми зубы покрепче, потому что сейчас будет действительно больно... – С этими словами Мария в последний раз вонзила кривую иглу мне в кожу. – Ну вот и все. Теперь ты и вправду как новенькая.

Я понимала, что если я хочу остаться в живых, мне необходимо оставаться в полном сознании. Мария настаивала, чтобы я провела какое-то время у нее, и обещала позвонить моим теткам. Она буквально заклинала меня никуда не выходить в таком состоянии и поила подслащенной водой, однако, несмотря на энное количество глюкозы, которая питала мой мозг, когда я встала, собираясь уходить, меня так качнуло, что пришлось схватиться за дверной косяк.

– Эй, ты куда? Куда ты собралась? Оставайся у меня.

– Я... Со мной все в порядке.

– Ничего с тобой не в порядке. Ну куда ты пойдешь в таком состоянии?

– В полицию.

– В какую полицию?! Ты с ума сошла! Даже не думай – ты себе только напортишь. Переночуй сегодня у меня, а завтра позвонишь теткам и уедешь к ним. И не пытайся бороться с этими людьми. Поезжай в Окумаре, еще куда-нибудь, и чем дальше – тем лучше. Завтра в твоей квартире появится еще больше этих... женщин, но если ты обратишься в полицию, они будут здесь уже через час, и тогда... Неужели ты не понимаешь, что они теперь – власть? Именно они, а не кто-то еще...

– Даже не знаю, как и когда я смогу тебя отблагодарить, Мария. Но я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю.

– Ты ничего мне не должна, и благодарить меня не за что. Но ты меня очень обяжешь, если никуда не пойдешь. По крайней мере – сегодня.

– Но я должна... должна что-нибудь сделать!

– Останься хотя бы на одну ночь. Завтра можешь отправляться куда тебе угодно, но сегодня – нет. У тебя глубокая рана на голове, возможно даже легкое сотрясение. Дождись хотя бы, пока боль

ослабеет. У меня есть свободная комната, иди туда и ложись. Завтра можешь делать все, что захочешь, но... Я уже говорила это и скажу еще раз: этих людей никто не остановит. В конце концов виноватыми окажемся мы. Мы проиграли эту войну, Аделаида. Там, откуда пришли эти женщины, найдутся и другие – уголовники, бандиты, головорезы. Можешь мне поверить – худшее впереди. Скоро мы будем жить в таком кошмаре, какого не могли себе и представить.

– Худшее впереди?..

– Да, и конца этому не видно. Возможно, лучшие времена еще настанут, но, боюсь, мы с тобой до них не доживем. Оставайся.

– Я очень благодарна тебе за все, что ты сделала, но... Не отговаривай меня. Я должна идти.

– Только ради всего святого, не в полицию! Делай что хочешь, только не ходи в полицию и не пиши никакого заявления.

– До свидания, Мария.

Я спустилась на свой этаж и остановилась у дверей Авроры Перальты. Некоторое время я рассматривала полоску света под дверью, надеясь увидеть движущуюся тень или услышать шаги. Я стояла долго, но ничего не увидела и не услышала. Выкрашенная белой краской дверь выглядела целехонькой, замок – тоже. Дверь никто не взламывал, замок никто не вскрывал. Я опустила ладонь на дверную ручку... и произошло чудо. Оказывается, выламывать дверь не было необходимости – достаточно было просто ее слегка толкнуть. Юркнув в квартиру, я плотно закрыла за собой дверь и огляделась. В гостиной было открыто окно, и сквозь него врвался внутрь ветер, который пахнул свинцом и насилием. Я сделала шаг вперед и внимательнее оглядела комнату, которая была очень похожа на нашу. И увидела ее...

Аврора Перальта лежала на полу. Ее глаза были открыты, губы на бледном лице казались неестественно красными. Я не знала, что хуже: боль в голове, ужас, который я испытала при виде Авроры, или страх выдать себя паническим воплем.

– Аврора! Аврора! – просипела я. – Это я, Аделаида. Соседка!

Ответа не было, и я, преодолевая страх, опустилась на колени и прижала пальцы к ее шее, чтобы пощупать пульс. Аврора была твердой и холодной, и меня охватила смесь отвращения и жалости. А еще через мгновение я почувствовала, как толстая змея тошноты

поднимается по моему пищеводу. Вскочив на ноги, я бросилась в кухню, благо квартира была почти такой же, как наша, склонилась над раковиной, и меня вырвало едкой, горькой желчью.

Вернувшись на подгибающихся ногах в гостиную, я еще раз взглянула на мертвую и поняла, что ничего не чувствую. Аврора Перальта стала всего лишь еще одним трупом в этом городе призраков.

На столе я обнаружила миску с яйцами, которые Аврора взбивала, когда смерть застала ее врасплох. Гостиная с мебелью без чехлов напоминала плохой натюрморт. Глядя на эту картину, я испытала приступ сочувствия к Авроре – сочувствия, которого не испытывала, пока она была жива. Стоя возле ее безжизненного тела, я понемногу начинала понимать, как соединились нити судьбы, которые много лет назад привели нас в квартиры, разделенные одной тонкой стеной. Аврора Перальта умерла, а я, Аделаида Фалькон, была жива, но нас по-прежнему связывала некая невидимая нить. Пуповина, протянувшаяся между живой и мертвой.

Оглядевшись по сторонам, я поискала что-то, чем можно было бы накрыть тело. Больше всего мне хотелось закрыть ей глаза, которые смотрели на меня из холодного посмертия. Один за другим я выдвигала ящики комода, рассчитывая найти простыню, одеяло или просто полотенце – достаточно большое, чтобы накрыть Аврору целиком. Наконец в шкафу в хозяйской спальне я обнаружила простыню. Накрывая труп, я зажмурилась, чтобы не видеть неподвижного взгляда Авроры.

Когда все было готово, я открыла глаза и еще раз огляделась по сторонам. Что здесь произошло? Ах, если бы только стены могли говорить! Кто убил Аврору? Или она умерла естественной смертью?.. Был ли это внезапный сердечный приступ или какая-то запущенная болезнь? Ответов я не знала – все происходило слишком быстро и сбивало меня с толку. Несомненно было одно: она умерла, а я – нет, но на этом проблемы, увы, не заканчивались. Кто будет задавать вопросы об Авроре Перальте? Кто будет ждать ее звонка? Кто ее хватится – родственник, подруга, любовник? Или она, как и я, была человеком в достаточной степени одиноким, и ее смерти никто не заметит? Хорошо бы так...

На тумбочке, рядом с разряженным телефоном, лежали три конверта, два вскрытых и один запечатанный, а также связка ключей,

которыми Аврора не успела воспользоваться, чтобы запереть дверь. Должно быть, подумала я, она выносила мусор и просто захлопнула за собой дверь, не задвинув засов, благодаря чему я и смогла войти, просто нажав на ручку. Любой *нормальный* житель Каракаса запер бы дверь на засов не задумываясь, да еще дважды проверил замок, но Аврора этого не сделала. Интересно было бы знать, что заставило ее забыть обо всем и начать взбивать яичные белки, которые засохли в миске острыми конусами?

Быть может, ее все-таки убила Генеральша или кто-то из ее подчиненных? Или они проникли в квартиру, но бежали, увидев, что она уже мертва? Почему они предпочли захватить мою квартиру, а не эту?.. В поисках ответа на свои вопросы я еще раз обошла комнаты, но нигде не было никаких следов насилия. Не было и никаких признаков беспорядка, который оставили бы грабители, искавшие в шкафах деньги и драгоценности. Все выглядело как обычно, если не считать мертвой женщины, которая вытянулась в кухне на полу. Кстати, сколько Аврора там пролежала?.. Наверняка несколько дней. А значит, все это время в кухне горел свет, который выключался только тогда, когда не было электричества.

Меня охватил ужас, противный липкий ужас. Я разрывалась между желанием бежать отсюда со всех ног и... остаться. Да и бежать мне все равно было некуда. Дома у меня не стало. Единственным выходом было податься в Окумаре, к теткам, но что я там буду делать? Как зарабатывать на жизнь? В полицию я все же решила не ходить, и мысль о нежданно-негаданно подвернувшемся мне убежище все настойчивее стучалась мне в голову Думай, думай, думай, подстегнула я себя. Аделаида Фалькон, думай!..

В квартире, которая еще вчера была моей, по-прежнему раздавались чужие шаги. Они были намного громче, чем звуки, которые мы с мамой когда-то слышали за стеной, отделявшей нас от квартиры Авроры. Прислушавшись, я смогла различить стук пластиковых шлепанцев, которые носила Венди, смех Генеральши, шорохи, скрипы и другие звуки – банда прибирала к рукам захваченную территорию. Их не заглушала даже громкая музыка, все та же «*Tumba-la-casa, tami, tumba-la-casa* – Ты должна разрушить этот дом, мама...», сделавшаяся саундтреком моего кошмара наяву.

Из окон квартиры Авроры, выходявших на боковую стену нашего дома, площадь Миранды была видна мне как на ладони. Возле мусорной кучи появился новый отряд из десятка женщин, которые выглядели еще более упитанными, чем Генеральша и ее банда. Мария была права – *они* будут захватывать новые и новые квартиры, не обращая внимания на то, живет в них кто-нибудь или нет.

Женщин на площади охраняли несколько «коллективос» на мотоциклах. В данный момент они были заняты своим прямым делом – дрались с группой молодых людей, по виду – студентов, пытавшихся сорвать и сжечь плакаты с портретами Вечного Команданте. Спустя какое-то время на площади появился полицейский патруль, который сопровождали несколько вооруженных головорезов. Я хорошо видела их грубые лица, на которых была написана жажда крови, и хотела крикнуть, чтобы предупредить молодых людей, которых было совсем мало, но голос мне не повиновался. Пока я сражалась с собственным страхом, полицейские повалили на асфальт двух молодых людей. Один лежал спокойно, второй корчился от боли. Из рта у него текла кровь, совсем как у быка, которому матадор только что нанес последний удар шпагой.

Я вернулась в гостиную и взяла с тумбочки единственный оставшийся не вскрытым конверт. Письмо оказалось из консульства Испании в Каракасе. Я пыталась прочесть текст, держа письмо на просвет, но бумага оказалась слишком плотной. Тогда я вернулась к письмам, которые были вскрыты. В одном оказался счет за электричество. В конверте, на котором я снова увидела штамп в виде красно-желтого испанского флага, оказался запрос от пенсионного ведомства этой страны. Инспекция по социальному обеспечению Испании требовала представить доказательства того, что сеньора Хулия Перальта, мать Авроры, еще жива и может и дальше получать пенсию.

Это было странно. Насколько я знала, Хулия Перальта скончалась еще лет пять назад.

Сложив письмо из консульства и запрос вдвое, я сунула их в карман, потом взяла в руки ключи и как следует заперла входную дверь.

Аврора умерла, но я-то по-прежнему была жива.

Никогда я не присутствовала при рождении человека. Я никогда не носила ребенка и никогда не рожала. Я никогда не держала на руках ни сына, ни дочь, никогда не вытирала ничьих слез, кроме своих собственных. В нашей семье не рождались на свет дети, а старые женщины умирали, лишаясь своей власти только на смертном одре. Они продолжали править, даже стоя одной ногой в могиле – совсем как люди, которые умирают у подножия вулкана. Материнство я представляла себе только как отношения, которые были у нас с мамой, – как связь, которую следовало поддерживать и укреплять, как ненавязчивую, тихую любовь, находившую выражение в нашем стремлении сохранять в равновесии наш маленький, предназначенный только для двоих мирок. Я не имела ни малейшего представления о том, какой могучей преобразующей силой обладает материнство, пока однажды мама не повела меня в музей, чтобы посмотреть картину Артуро Мичелены. Раньше я думала, что этот художник изображает только сражения и битвы, но в тот день написанное им полотно стало для меня неопровержимым доказательством того, что рождение ребенка освещает душу, разгоняет туман и наполняет смыслом мрак, который царит в женском лоне.

Картина называлась «Молодая мать». Глядя на нее, я впервые задумалась о том, каково это может быть – выносить и родить ребенка. Мне тогда было двенадцать лет, картина же была написана больше столетия назад. Мичелена создал ее в 1889 году, когда его талант достиг наивысшего расцвета. В то время он жил в Париже, получал награды в салонах и на выставках и был даже удостоен медали за картину, представленную на той же Всемирной выставке, что и Эйфелева башня. Выпускник Академии Жюлиана^[21], он был умеренным космополитом и отстоял довольно далеко от идей Салона отверженных^[22], однако на своих полотнах Мичелена сумел передать свет валенсийских равнин^[23], как может сделать это только художник, воспитанный под беспощадным солнцем тропиков. Под солнцем, которое сжигает все.

Я стояла перед этой картиной как человек, который только что открыл для себя очевидную истину: мать воплощает одновременно и

красоту, и хаос. Тогда я еще не знала ни о госпоже Бовари, ни об Анне Карениной; мне были безразличны несчастные женщины, которые кончают с собой, избирая для этого столь варварские способы. И, уж конечно, я даже краем уха не слышала о разочарованных поэтессах, стихи которых всего несколько лет спустя сделали из меня страстную читательницу. Тогда я еще не читала «Молоко сердца» Мийо Вестрини и не была знакома ни с потрясающим сборником «Дом или волк» Иоланды Пантин, ни с великолепной хроникой «Сумка для фиесты» Лизы Лернёр. Я, правда, уже прочитала «Ифигению» Тересы де ла Парра, но не могла еще постичь всю глубину той безысходности и тоски, которая побудила молодую женщину из Каракаса взяться за перо. Мне было далеко до понимания наших литературных аристократок, которым суждено было оставить такой глубокий след в моей душе и в моей жизни, и все же, стоя перед картиной Мичелены, я вдруг обнаружила, что внутри меня живет женщина. Я не была отважной, но мне хотелось быть смелой. Я не была красива, но мне очень хотелось иметь такую же гладкую кожу, как у только что родившей ребенка женщины на картине.

Именно Мичелена заставил меня обратить внимание на форму моего тела. Это он показал мне изъяны моей фигуры, написав изящную молодую мать, привольно откинувшуюся на спинку складного кресла, сошедшую с картины Веласкеса нимфу, которая баюкала на руках ребенка – слишком большого, белокожего и здорового для страны, истерзанной голодом и войной. Глядя на трепет листьев, повторенный кожей женщины, разбираясь в мозаике ложных теней, созданной палитрой художника, я рассматривала налитое тело молодой матери и подмечала приметы старения, которые появляются вслед за деторождением. Говорят, что, узнавая новое, ты лишь углубляешь собственное невежество. Наверное, это действительно так... Во всяком случае, в то утро мне был нанесен сильнейший удар: впервые я ощутила странную, могучую, как приливная волна, силу, исходящую от всех матерей – обитательниц какого-то особого мира, которые сияют, словно утреннее солнце, источая едва уловимый волшебный аромат.

Какое-то время спустя мы с мамой шли домой по Лос Каобос – парку во французском стиле, который в пятидесятых годах был устроен в Каракасе по проекту каталонского инженера Марагаля. Мы

возвращались из самого большого в Венесуэле культурного центра имени Терезы Кареньо; там, в зале Хосе Феликса Рибаса, мы смотрели спектакль «Петя и волк». Это было как побывать в раю – театр был настоящим оазисом мира в стране, которая поднялась на дыбы. В парке мы остановились у фонтана скульптора Франсиско Нарваэса, чтобы полюбоваться на высеченные из камня фигуры прекрасно сложенных индийских женщин, немного похожих на статую богини работы Марии Лионсы, хотя выглядели они значительно более строго. Фонтан скульптор назвал «Венесуэла»; фигуры, которые были его частью, располагались по периметру обширного бассейна, в котором плавали сейчас пластиковые обертки от конфет и выгоревшие пакеты из-под картофельных чипсов. Казалось, в бассейне варится густой суп из мусора и опавшей листвы.

– Тебе понравилось в галерее? – спросила мама.

– Гм-м-м... – ответила я невнятно – как раз в этот момент я сосала через соломинку персиковый сок из пакета, который мама достала из сумочки.

– А что тебе понравилось больше всего?

Обдумывая этот вопрос, я задержала взгляд на огромных грудях нарваэсовских индианок, потом посмотрела на свои потрескавшиеся белые туфли.

– Картина...

– Какая картина?

– Мичелены. С молодой матерью.

– А почему? Я думала, тебе больше понравятся «Проницаемые» Сото^[24] или скульптуры Крус-Диеса^[25].

– Они мне понравились, но мать понравилась мне больше. Помнишь, она там в красивом платье в беседке...

– А-а, понятно... – Мама снисходительно кивнула. – Тебе понравилось розовое платье?

– Нет. – Я немного помолчала, словно давая время своим словам пропитаться остатками сока. – Она понравилась мне потому, что она *дрожит*.

– Дрожит?

– Да. – Я с хлюпаньем втянула в себя несколько последних капель сока. – Ну, *как будто* дрожит... Шевелится. Я знаю, что картина шевелиться не может, но... Ты понимаешь? Сейчас она вроде есть, а

через секунду ее уже нет... то есть как будто нет. Это не просто картинка, мама. Она живая!..

Мама задумчиво смотрела на воду. Цикады в листве репетировали песню, которую эти насекомые обычно заводят в засушливый сезон и которая больше напоминает громкий треск. Погожее утро постепенно улетучивалось, проскальзывая сквозь пальцы, как обычно улетучиваются последние часы воскресенья. Прохладная мраморная дорожка, которая в те времена еще не была разрушена, вызывала у меня желание свернуться калачиком и лежать, ничего не делая, как во время долгой сиесты.

Мама порылась в сумочке и, достав пачку салфеток, протянула мне, чтобы я вытерла губы.

— И именно поэтому эта картина тебе понравилась?

— Ну-у-у... — протянула я. Дальше этого мычания я не продвинулась. — А когда я родилась, мы с тобой выглядели так же?.. — спросила я немного погодя.

— Что ты имеешь в виду?

— Я хочу сказать — мы с тобой были как на этой картине — такие большие, розовые... как пирожные.

— Да, дочка. Мы выглядели как пирожные.

Мамино лицо странно сморщилось. Некоторое время она с какой-то чрезмерной тщательностью отряхивала юбку, потом защелкнула сумочку и взяла меня за руку.

И именно тогда, в тишине и безлюдье населенного деревьями и нимфами парка, что-то в этой стране начало на нас загонную охоту.

* * *

Я внимательно смотрела на выходы, которые вели на парковку. Не менее внимательно я разглядывала ближайшие уличные контейнеры и выходы на самые тихие улочки. Мне необходимо было избавиться от тела Авроры Перальты, не привлекая ничьего внимания. Если я хотела остаться в ее квартире, мне нельзя было сделать ни одной ошибки. Обращаться в полицию я не хотела: скорее всего, я сама оказалась бы в тюрьме. Ни один человек не поверил бы моему рассказу.

Ждала я до десяти вечера. На улицах раздавалась беспорядочная стрельба, в воздухе свистели настоящие пули, и подставляться под выстрелы никому не хотелось. Улицы были пустынные. Люди в страхе забились в дома и старались лишний раз не подходить к окнам. Генеральша и ее отряд покинули свою крепость в моей квартире три часа назад, чтобы присоединиться к побоищу на проспекте Урдането. «Коллективос» и их вооруженные союзники уже прикончили около сотни протестующих, которые вышли на улицы, чтобы их убили: голода и гнева вполне достаточно, чтобы желать смерти. Как бы там ни было, время было самое подходящее. Я знала, что не могу упустить шанс, который подарило мне отчаяние множества незнакомых мне людей.

Вытащить Аврору из квартиры оказалось труднее, чем я ожидала. Весила она не больше шестидесяти кило, но казалось, что тонну. Я никак не могла решить, что хуже: вес мертвого тела или охватившее его трупное окоченение. С невероятным трудом я дотащила Аврору до лифта и нажала кнопку вызова, благо электричество уже дали. Кабина поднималась с лязгом и грохотом. Казалось, она движется медленнее, чем всегда.

Но когда я открыла дверцу, мне стало ясно, что места в кабине слишком мало. Лежа Аврора Перальта никак бы туда не поместилась. Ее руки и ноги стали жесткими, как стальная арматура, и я никак не могла их согнуть. В висках у меня стучало, руки тряслись. Нос и рот я завязала рубашкой, смоченной протирающим спиртом; теперь эта повязка мешала мне дышать, а пальцы в резиновых перчатках, которые я надела, вспотели и распухли. Порой мне даже казалось, что это не я, а кто-то другой пытается втиснуть в лифт окоченевший труп.

Стоя перед распахнутой дверью лифта, я напрягала все свои мыслительные способности, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Тащить Аврору по лестнице было бы самым верным способом попасться с поличным. Точно так же не стоило и мешкать на площадке рядом с мертвым телом. Двенадцать подвигов Геракла казались пустяком по сравнению со стоявшей передо мной задачей. Я знала только одно: эта мертвая женщина была залогом того, что сама я останусь в живых. Мне было необходимо правильно разыграть свои карты, чтобы поселиться в ее квартире.

И я потащила тело Авроры Перальты обратно. Разворачивая ее ногами вперед, по направлению к двери квартиры, я почувствовала себя, как человек, который уже долгое время ходит по кругу, но никак не продвинется в нужном направлении. Первая попытка избавиться от тела (спустить его вниз на лифте) заняла у меня почти час, и в результате я оказалась там же, откуда начала. Подстегнули меня доносящиеся с улицы звуки стрельбы, взрывы и звон разбитых бутылок. Нельзя сдаваться, нужно действовать, и действовать быстро. Думай, Аделаида Фалькон, думай!.. Я перевела дух и огляделась. Должно быть, верно говорят, что человек, попавший в безвыходное положение, проявляет чудеса изобретательности и сообразительности. Так случилось и со мной. Взгляд мой, словно сам собой, остановился на ножной швейной машинке, которая в сложенном виде напоминала стол с колесиками. Верхняя крышка машинки приходилась почти вровень с подоконником. Это было именно то, что нужно! Если на улицах мужчины и женщины убивают и калечат друг друга почему зря, вряд ли кто-то обратит внимание на еще одно мертвое тело, свалившееся с пятого этажа. Так пусть прольется дождь из мертвецов, подумала я и вдруг поняла, что это совсем не метафора.

Вытолкнув швейную машинку из угла, я подкатила ее к открытому окну. Следующие минут двадцать ушли у меня на то, чтобы переложить тело на крышку. Делать это пришлось в два этапа. Сначала я с грехом пополам оторвала Аврору от пола и взгромодила на сиденье стула и тут же, используя инерцию рывка, закатила труп на швейную машинку. Гладкая полированная верхняя крышка машинки была похожа на огромное сервировочное блюдо, но я поспешила отогнать от себя эту мысль и перевернула тело лицом вниз. Ноги Авроры совсем окоченели и были негнущимися и прямыми, как каминные щипцы. *Ригор мортис* сделал ее похожей на печального акробата.

Я напрягала все силы, словно не избавлялась от мертвеца, а рожала дочь или сына. Когда-то моя мама любила напевать песенку, в которой говорилось о другой матери, которая верила, что ее дочь зачала от ветра. Сейчас мне показалось, что эти слова идеально подходят к моей ситуации: я зачала на пустом месте, а теперь наступили роды.

Когда тело Авроры Перальты перевесилось за подоконник больше чем наполовину, на помощь мне пришел закон всемирного тяготения. Верхнюю часть туловища потянуло вниз. Мелькнули в воздухе ногипалки. Это был уже не мертвый человек, а просто неодушевленный предмет, не вызывавший у меня никаких чувств. Это не твоя вина, Аделаида, сказала я себе, опускаясь на пол возле окна. Пот заливал мое лицо. Это не твоя вина. Не твоя... В моих ушах звенел стрекот мотоциклов Сынов Революции, точно пули носились их пронзительные крики и угрозы: «Убей его, убей! Убей эту собаку! Достань скорее телефон, снимай! Они схватили его! Снимай же!.. Убей!..»

Только благодаря этому шуму я не услышала, как тело Авроры Перальты ударилось о мостовую.

Мне очень хотелось выглянуть и посмотреть, куда упало тело, но я продолжала сидеть на полу, чувствуя, как непереносимый стыд сжигает меня изнутри. Лицо горело, и я по-прежнему обливалась потом. Хирургические швы, которые наложила мне на рассеченную голову Мария, жгли как огнем. Едкая, густая, как желе, рвота поднялась откуда-то из глубины, наполнив рот горечью. Я отчетливо понимала, что моя ситуация достигла точки невозврата и что любая попытка как-то исправить то, что я совершила, сделает невозможным, неисполнимым мой следующий шаг. Да, я не убивала Аврору Перальту, но это не означало, что я ни в чем не виновата. Я не выдержала и – пусть по необходимости – все же вкусила из того же корыта с гниющими объедками, что и многие мои соотечественники.

Я всего лишь хотела, чтобы у меня был дом. Место, где приклонить голову. Место, где я могла бы сложить свои вещи и смыть грязь со своего тела. И чтобы добиться своего, я должна была поторопиться. Нельзя было оставлять тело Авроры валяться на тротуаре перед парадным. Любой из жильцов мог ее опознать, и тогда начнутся вопросы.

План у меня был уже готов. Метрах в двадцати от здания я заметила большой мусорный контейнер, в котором что-то горело. Если я сумею оттащить Аврору туда, никаких проблем не будет. Не останется никаких следов. Просто в городе появится еще один мертвец. Еще один труп – один из многих. Сколько расчлененных тел каждый день находят в брошенных чемоданах и просто на помойках?

Сколько мертвецов, которых никто никогда не опознает и не будет разыскивать, валяются в городских парках? Эти люди умерли... На этом их история заканчивалась.

Некоторое время я не могла решить, завязать ли мне лицо пропитанной спиртом рубашкой или не стоит. Да, повязка могла бы защитить меня от слезоточивого газа, но если я спущусь вниз с закрытым лицом, кто-то мог подумать, будто я в конце концов выбрала, на чьей я буду сражаться стороне. И у этого кого-то не будет никаких сомнений в том, что это за сторона. Протестующие, демонстранты часто прикрывали лица воротниками рубаш, чтобы защититься от слезоточивого газа. Это была униформа жертв – тех, кто заранее проиграл; магнит, притягивавший вооруженных головорезов и бандитов всех мастей. И все же в последнюю минуту я схватила рубашку и, держа ее в руке, сбежала вниз. Не успела я ступить за порог, как мое горло обожгло запахом перечного газа.

Аврора Перальта упала на асфальт головой вниз, и я едва ее узнала. Вонь горящих покрышек и слезоточивого газа растекалась по улице густым облаком, которое могло служить прекрасным прикрытием, если только действовать быстро. Пригибаясь, я потащила тело Авроры к охваченной огнем бочке, которая валялась рядом с намеченным мною мусорным контейнером. Расстояние оказалось несколько больше, чем я рассчитывала, зато по дороге я подобрала бутылку с бензином – самодельную бомбу, которую какой-то злосчастный демонстрант так и не успел бросить. Облив тело Авроры бензином, я за ноги подтащила его поближе к бочке. Одежда на ней вспыхнула почти мгновенно, и я отшатнулась от взметнувшегося вверх пламени. Совсем как костер на Иванов день, промелькнула у меня в голове неуместная мысль. Костер на Иванов день – в феврале...

И сразу же мне припомнилась песня, которую жители Окумаре и Чорони пели каждый год 23 июня, в канун Иванова дня. Стоя в дверях пансиона сестер Фалькон, я слышала доносящиеся издалека обрывки нескладных песен, которые, ударяя в свои барабаны, выводили венесуэльцы с африканскими корнями. «Я никуда не уйду, пока не закончится фейерверк!..» Под этот примитивный ритм мужчины и женщины двигали бедрами, а над пляжем разносился острый запах пота и агуардиенте. Мои тетки Клара и Амелия знали эти песни наизусть и могли пропеть их от начала и до конца не моргнув глазом.

На берегу жгли костры, пускали фейерверки, устраивали пикники, пили и напивались, а в темном небе раскачивалась деревянная статуя Святого Хуана^[26], которую нетрезвые носильщики выносили к морю.

В нескольких метрах от меня догорал труп Авроры Перальты, истерзанный не только огнем, но и пулями. Какие-то люди носились во всех направлениях, словно справляя свой собственный странный праздник – праздник без повода и причины, праздник, приправленный запахами пороха, слезоточивого газа, смерти и безумия. В этой стране мы танцуем и избавляемся от наших мертвецов с одинаковым рвением. Мы выжимаем их досуха, изгоняем, как изгоняют демонов, выдавливаем, как экскременты. В конце концов все они оказываются в канализационных отстойниках или на помойках, которые легко и быстро горят, словно все мы при жизни были сделаны из какой-то дешевой субстанции, которая только и годится, что на выброс. «Я никуда не уйду, пока не закончится фейерверк»... И все же я оставила тело Авроры догорать, а сама обратилась в бегство.

Я была недалеко от дверей парадного, когда земля ушла у меня из-под ног. Падая, я ударилась лицом об асфальт и содрала щеку. Сначала я решила, что поскользнулась в луже машинного масла, которое специально разливали на улицах, чтобы те, кто бежит, спасая свою жизнь, поскользнулись. Только потом я сообразила, что кто-то сбил меня с ног. Сбил с ног и уселся верхом, чтобы я не могла пошевелиться.

– А ну, лежи тихо, сестренка! Не дергайся. Что ты тут делаешь, а? Отвечай!..

Я попыталась обернуться, но прижимавшая меня к мостовой тяжесть не позволяла мне освободиться. Лежа лицом вниз, я не видела лица нападавшего, не могла определить, к какой партии он принадлежит – к тем, кто выступает против правительства, или к тем, кто его поддерживает.

Я задержалась, пытаюсь сбросить его с себя.

– Что ты здесь делаешь?

Похоже, он не собирался меня бить. Во всяком случае – не сейчас, не сразу.

– Что я делаю? Защищаюсь. Защищаюсь от таких, как ты!

Я продолжала корчиться под ним, как червяк, и все-таки сумела перевернуться лицом вверх.

– Защищаешься? А кого ты защищаешь? *Что* ты защищаешь?

Его лицо было закрыто повязкой, какую носили Сыны Революции – черным платком с прорезями для глаз и изображением оскаленного черепа. В воздухе плыл тошнотворный запах обугленного мяса. Нападавший продолжал сидеть на мне верхом и удерживал меня за руки, не давая пошевелиться. Я удвоила усилия, я дергалась, лягалась и пыталась приподнять верхнюю часть тела. Наконец мне удалось освободить одну руку. Выгибаясь, я пыталась ударить его кулаком, но все время промахивалась. Наконец я почувствовала, что мои ногти зацепились за его маску. Одним движением я сорвала ткань с его лица. Он не попытался меня ударить, он даже меня не обругал. Напротив, на мгновение он словно замер неподвижно, и...

Если у грешников есть бог, сейчас он был на моей стороне. Я узнала это лицо практически мгновенно. Передо мной был Сантьяго, брат Аны.

– Сантьяго! Это ты?!

Он не ответил.

– Сестра с ума сходит, ищет тебя!

– Тише!.. Делай как я скажу. Продолжай сопротивляться, поняла?.. – Он снова закрыл лицо маской и наклонился к моему уху. – Я должен увести тебя с улицы. Куда мы можем пойти?

– Туда. В этот дом.

Сантьяго рывком заставил меня подняться и сильно толкнул в спину одной рукой. Другой рукой он разгонял облако слезоточивого газа из разорвавшейся неподалеку гранаты. Спустя несколько секунд нас уже не было видно, и слава богу: группа мотоциклистов промчалась по улице, беспорядочно паля по окнам и дверям, но мы уже бежали к подъезду.

– Ну, пока, – сказал он, когда мы оказались у самых дверей.

И, повернувшись, Сантьяго зашагал прочь. Я бросилась за ним и попыталась затащить в подъезд, но он оттолкнул меня.

– Ступай внутрь. Если хочешь, чтобы тебя подстрелили – можешь продолжать, но я не желаю, чтобы меня убили. Если *они* узнают, что я не проломил тебе голову, меня расстреляют.

В воздухе над нашими головами снова засвистели пули, и мы ничком бросились на асфальт.

– Пожалуйста, Сантьяго, послушай меня... Твоя сестра тебя ищет. Ты должен ей позвонить. Если ты не позвонишь, я сама это сделаю...

– Если ты это сделаешь, они... Они убьют всех нас. Ее. Меня. Даже тебя. Так что...

Он не договорил. Рядом с нами упал на землю совсем молодой парень – на вид ему было не больше семнадцати. В него попала газовая граната, взрыв которой разворотил ему грудь. Над ним мы увидели бойца в черной экипировке полицейского спецназа с винтовкой в руке.

Сантьяго немедленно вскочил, ударил меня кулаком в живот, а затем схватил за волосы и тряхнул как куклу.

– В грузовик ее! Пошевеливайся, ленивая свинья! Тащи эту суку в грузовик. Отвезем ее в боливарианский штаб, – приказал полицейский Сантьяго.

Я по-прежнему лежала на земле. Удар выбил из меня весь дух, живот скрутило от боли, но я все-таки увидела, как полицейский отвернулся от нас и двинулся к своей жертве. Присев на корточки, он принялся обыскивать убитого мальчишку. Вместо того чтобы предать мертвеца земле, полицейский выворачивал ему карманы, чтобы бросить там, где он упал.

Но кто, в конце концов, дал мне право его судить?

Дети порока, сказали бы мои тетки, негромко напевая один из гимнов, посвященных ночи накануне Иванова дня.

«Я никуда не уйду, черт меня дери, пока не закончится фейерверк...»

* * *

Я довольно смутно представляла, где я, и пришла в себя, только когда мы добрались до подъезда и поднялись наверх. Достав из кармана ключ, я с трудом вставила его в замок. Сантьяго все еще был в черной маске Сынов Революции, так что со стороны трудно было понять, спасаемся ли мы от кого-то или, наоборот, преследуем. Угроза, которую излучал оскаленный череп, защищала нас от одних и делала уязвимыми для других. Всего несколько месяцев назад любая одежда, которая указывала бы на принадлежность к проправительственным

силам, послужила бы нам пропуском – никто не посмел бы сказать нам ни слова, никто не посмел бы к нам даже приблизиться. Но ситуация переменилась. В нынешние времена многие, очень многие были готовы захватить одного из Сынов Революции и вздернуть на ближайшем фонаре в назидание остальным. Сантьяго был безоружен, а безоружный палач всегда внушает жертвам желание дать выход той ненависти, которую завещал нам команданте.

Но вот наконец мы в квартире. Сняв с лица маску, Сантьяго молча разглядывал мебель и стены. Его лицо сморщилось, взгляд был растерянным, и я поняла, что вместо ненависти испытываю лишь жалость. А он все крутил головой, сбитый с толку, настороженный, напуганный... Вот Сантьяго оглядел разгромленную гостиную, потом заговорил, запинаясь и проглатывая слова, потому что... Запутавшись в собственных эллиптических конструкциях, Сантьяго перевел дух и начал сначала. Он ударил меня, чтобы спасти наши шкуры. Это – (тут он сунул мне под нос свою маску) – было для него сущим кошмаром. Вот уже три месяца он... Полиция... Специальный отряд...

– ...Я же велел тебе идти в дом! Почему ты побежала за мной, черт тебя возьми? Теперь и ты тоже в дерьме вот посюда!.. – проговорил он, помахав ладонью у себя над головой.

Сантьяго ошибался. Канализационные стоки поднялись гораздо выше, и мы были на самом дне. Мы были погребены под слоем дерьма толщиной в несколько световых лет. Он, я, остальные... Страны больше не было. Вся Венесуэла превратилась в канализацию.

– Не ори, пожалуйста, – сказала я. – Это не ты, а я должна биться в истерику, после того как ты меня избил.

– Но ты не послушалась, когда я...

– Я знаю, знаю... Согласна. Если бы ты не сделал этого, они бы отрезали тебе яйца. Но сейчас я прошу тебя делать, как я тебе говорю... Соседнюю квартиру захватила группа женщин, которые без колебаний вышвырнут нас вон под угрозой пистолета. Так что пока ты здесь, говори как можно тише, и лучше всего – в этой части квартиры, подальше от общей стены. Не включай свет, никому не открывай и ни в коем случае не смотри в глазок, если кто-нибудь постучит.

– Но ведь это не...

– Нет, Сантьяго, это не моя квартира. Я понимаю, что должна многое тебе объяснить, но сначала расскажи, что с тобой случилось.

Твоя сестра... Ана уже давно не получает о тебе никаких известий. Она продолжает платить *им*, чтобы тебя не убивали, а ты не хочешь даже ей позвонить. Что у тебя общего с этими бандитами? Мы думали – ты в тюрьме. Многие видели, как тебя забирали из университета.

Сантьяго по-прежнему стоял посреди гостиной, держа в руке черную маску с черепом. Я сделала ему знак молчать и, быстро шагнув к стене, приложила к ней ухо. Похоже, Генеральша и ее отряд еще не вернулись. Что ж, не все еще потеряно – нас они не слышали, и я могла оставаться в квартире Авроры еще несколько дней, спокойно обдумывая свой следующий шаг.

Вновь обернувшись к Сантьяго, я почувствовала себя выжатой досуха. Большого изнеможения я не испытывала даже после того, как выбросила мертвое тело из окна.

Сантьяго смотрел на меня почти таким же диким взглядом, как я на него, но глаза у него были какие-то оловянные. Он смотрел, как человек, который слишком долго блуждал в далеком, чужом краю. Впервые с тех пор, как я с ним познакомилась, я заметила в нем глубокий внутренний надлом. У Сантьяго было лицо человека, потерпевшего поражение и смирившегося с этим. Талантливый молодой студент-экономист, который все знал и все мог, исчез, испарился. Младший брат моей подруги выглядел как старик: на лбу залегли морщины, кожу покрывали шрамы – следы давних ссадин и рассечений. Он был настолько худ, что я могла рассмотреть набухшие вены, оплетавшие не слишком развитые мускулы, двигавшие его тонкие косточки. Одет Сантьяго был в потрепанные джинсы и красную рубаху с изображением глаз команданте на груди.

– Ну, Сантьяго, ты ничего не хочешь мне сказать?

Он поднял обе руки и вцепился пальцами в свои пыльные, давно не мытые волосы.

– Я хочу есть.

Я отправилась в кухню и вернулась с пакетом, в котором лежали два или три ломтика хлеба, немного галет, которые я нашла в глубине буфета, а также три банки консервированного тунца в масле, которые Аврора Перальта оставила на микроволновке. Сантьяго ел с жадностью. Он грыз галеты и запивал их подсолнечным маслом из банки с тунцом. Пока он ел, я открыла банку пива, которую нашла в холодильнике. Его вкус показался мне восхитительным.

– Если хочешь, на кухне есть еще несколько бананов.

Ответом мне был гулкий звук – это Сантьяго проглотил слишком большой кусок хлеба. Я принесла бананы, он очистил их и съел, потом допил остатки пива и вынул из кармана мятую пачку сигарет.

– Ты позволишь?.. – спросил Сантьяго чуть не с робостью.

– Мне все равно. На улице воняет, в доме воняет, так какая теперь разница?

– А ты разве не куришь?

– Бросила. Впрочем, оставь мне пару затяжек.

Сантьяго курил, зажав сигаретный фильтр между большим и указательным пальцами. Лишь какое-то время спустя он протянул мне все, что осталось от сигареты, и выпустил дым через ноздри.

– Когда меня отвезли в Ла Тумбу, то посадили в крошечную камеру без окон и без вентиляции. Меня продержали там целый месяц. Сначала я был один, потом туда же посадили еще двоих ребят из университета. Каждые два часа в камеру приходил кто-нибудь из СЕБИН^[27] – из военной разведки, которая во время демонстраций захватывает в толпе активистов и вожаков. Они выбирали одного из нас и уводили по коридору. Час спустя жертву приводили обратно – избитую до потери сознания, с яйцами, которые превратились в студень, в желе...

Тут я поймала себя на том, что вот уже какое-то время внимательнейшим образом рассматриваю свои руки. Смотреть Сантьяго в лицо я была не в состоянии.

– ...Они вовсе не хотели узнать, были ли мы знакомы друг с другом, являлись ли мы членами одной организации. Они нас просто били. Били методично и регулярно. Мы забьем тебя до смерти, членосос, ублюдок, говорили они. Мы отымеем тебя по полной. Мы расправимся с твоими родными. Кто научил тебя митинговать? Кто послал тебя на улицу? Самому молодому из моих сокамерников засунули в зад водопроводную трубу. Мне – ствол автомата. Они поворачивали его то в одну сторону, то в другую и смеялись. Они были очень довольны собой. Извини за такие подробности, но...

Я не ответила и не пошевелилась. Только не смотреть на него. Только не смотреть... Неужели я первая, кому он обо всем этом рассказывает?..

– За двое суток каждый из нас прошел через это по четыре раза. Потом нас построили в коридоре, несколько раз сфотографировали на телефон и снова заперли. Они всегда старались не бить нас по лицу, чтобы не оставлять синяков, чтобы потом можно было делать вид, будто с нами обращались хорошо. Наверное, именно эти фотографии они посылали Ане.

Я кивнула.

– Они заставили ее платить за них?

Я снова кивнула.

– Что они ей обещали?

– Что тебя будут кормить.

– Только это? Больше ничего?

– Фотографии подтверждали, что ты жив. – Я немного помолчала. – О Ла Тумбе рассказывают ужасные вещи.

– И все это правда. Нас раздевали догола и сажали в комнаты с белыми стенами – единственные, где стоял кондиционер. Это была их любимая пытка, она так и называлась – «кондиционер». Термостат включали на минимум. Мы заболели лихорадкой, мы теряли чувство времени, мы забывали о голоде и переставали чувствовать холод. В первое время мы много кричали. Поначалу мы требовали адвоката, под конец – умоляли о глотке воды. Нам приносили кружки с похлебкой, от которой пахло уборной. Когда тебя бьют, ты теряешь силы, организм обезвоживается, во рту пересыхает, а слюна становится густой и вязкой. Нас били, чтобы мы потеряли силы, чтобы сломались. Страх делает тебя рассудительным, а побои – глупым. Ты тупеешь, и в голове не остается ни одной мысли. В первую неделю нас били по одному. На следующей неделе нас загнали в одну комнату, заставили снять штаны и танцевать. Потом – трогать друг друга за гениталии. К этому времени мы уже почти не сознавали, что делали. Но хуже всего было, когда они стали говорить о моей сестре.

– Что они говорили?

– Что знают, где она живет. Что они изнасилуют ее все по очереди. Что они убьют ее. И ее, и Хулио. Они знали их имена, и от этого мне делалось особенно страшно. Еще они заставляли меня просить прощения, но это ничего не меняло, потому что потом меня снова били. – Он немного помолчал. – Среди арестованных было несколько женщин. В том числе моих однокурсниц с экономического... Их взяли

в тот же день, что и меня. Некоторые из них никогда прежде не выступали против режима. Мы говорили им, что идти в первых рядах демонстрантов гораздо опаснее, чем сзади, но они не испугались. И вот...

— Их тоже били?

— Их всех изнасиловали. Наверняка. Когда нас водили на «кондиционер», мы слышали, как они кричат. Они были в других камерах, в других белых комнатах, так что узнать еще что-то было невозможно. Мы были изолированы от мира и даже друг от друга, в камерах не было света, и от этого мы начинали сходить с ума. Это делалось специально, чтобы мы забыли дневной свет, чтобы мы забыли, что мы — люди.

Через месяц нас вывели из камер, завязали глаза и куда-то повезли. Когда повязки сняли, я увидел, что мы находимся в судебной канцелярии. Там нам предъявили документ, в котором каждый из нас обвинялся в десятке преступлений — в мятеже, участии в тайной организации, в подстрекательстве к преступлениям, в поджогах, вандализме, терроризме. Большинство из тех, кого арестовали в один день со мной, никогда не прибегали к насилию. И многие из тех, кто все еще оставался под замком, даже не шли в главной колонне. Их схватили уже после, когда после демонстрации они возвращались домой. Это было сделано специально, чтобы никто не видел, что они арестованы.

— Но *кто* предъявил тебе все эти обвинения?

— Я не знаю. Мы просили позвать кого-нибудь из служащих канцелярии, прокурора или судью, чтобы он присутствовал при том, как мы даем наши показания, но никто так и не пришел. Здесь не суд, отвечали нам, а военный трибунал. Революционный трибунал. «Так всегда бывает с теми, кто сам ищет неприятностей», — сказал нам какой-то мужчина в защитного цвета форме.

На следующий день нас разделили — отправили в разные места. Я попал на юг, в тюрьму Эль Дорадо. Там я провел еще месяц. Никогда не думал, что буду скучать по Ла Тумбе. В Эль Дорадо никто не снимал нас на телефон — у них и без нас хватало узников, чьих родных можно было «доить». Мы даже для этого не годились. Ты, кстати, не в курсе, Ана все еще платит за информацию обо мне?..

– Не могу сказать наверняка, Сантьяго. У меня как раз умирала мама, и я почти ни с кем не общалась. Мне нужно было заботиться о ней, доставать лекарства для клиники... – Он бросил на меня вопросительный взгляд, и я кивнула: —...Да, моя мама умерла.

– Прости, не знал. Хотя откуда мне было знать?.. – Он достал из пачки последнюю сигарету и положил на стол.

– Она умерла почти две недели назад.

– А кто из нас жив, Аделаида? Кто из нас не умер, после того как все пошло псам под хвост?

Сантьяго поднялся с кресла, в котором сидел.

– Ты куда?

– Мне нужно в туалет. Иначе я просто лопну.

* * *

Я смотрела на потолок, словно надеясь увидеть написанные на нем ответы на свои вопросы. Нужно позвонить Ане, сказать, что я нашла ее брата, думала я. Но *должна* ли я это сделать? Могу ли я?.. В задумчивости я провела ладонями по столу. Я никогда не ела за ним, но сейчас вся моя жизнь проносилась передо мной, словно несмонтированная киноплёнка. Будет лучше, если Ана ничего не узнает о том, что случилось, решила я. Добра это точно не принесет. Отчаяние сведет ее с ума... может свести с ума, но... «Неведение дает безопасность», – сказала я себе, пытаюсь вернуть утраченное мужество и рассуждать здраво. Ана была моей единственной подругой. Я не имела права скрывать от нее то, что узнала, но и сообщить ей о появлении Сантьяго я тоже не могла.

Поднявшись с кресла, я потянулась к телефону, но в туалете забренчала цепочка, заревел слив, и я поспешно опустилась на прежнее место.

* * *

С Аной я подружилась на первом курсе филологического факультета. Несколько раз мы виделись на семинарах по общим

предметам, пока однажды не оказались вдвоем в одном лифте. Ана представилась и тут же, без перехода, высказала мне все, что она думает о моих выступлениях на семинарах. Начав с того, что я, по ее мнению, употребляю слишком много наречий, Ана заявила, что и в целом моя манера говорить нагоняет на нее тоску не хуже официальных речей наших государственных чиновников. Впоследствии я узнала, что это было вполне в ее стиле. С ранней юности Ана поклонялась только одному святому – небесному покровителю тех прямых и бескомпромиссных людей, которые хотя и раздражают порой безмерно, в конце концов становятся твоими самыми лучшими и преданными друзьями. Благодаря ее влиянию я избавилась от привычки использовать наречия в каждой произносимой фразе, что, впрочем, несколько не извиняло того высокомерно-покровительственного тона, который – особенно на первых порах – нет-нет, да и прорывался в ее словах.

Сблизили нас случайности – совпадающие расписания, общие курсы, которые мы для себя выбрали... Но если бы кто-то спросил меня, как получилось, что мы на протяжении стольких лет оставались близкими подругами, я бы затруднилась ответить. Что-то в этом роде можно наблюдать у счастливых супругов: выбор у них невелик, и если случай распорядился так, что твой партнер тебе приятен, ты проводишь с ним все больше и больше времени. Мы обе были довольно сдержанными и немного нелюдимыми. В отличие от большинства студентов-филологов мы вовсе не считали, будто наше призвание – перевернуть национальную литературу. Вместо этого мы решили посвятить себя профессиональной редакторской работе и корректуре – искусству, которое состоит в том, чтобы сделать авторскую рукопись, над которой приходится работать, более точной и ясной.

– Ну а ты что? – как-то раз спросила меня Ана, когда мы сидели в университетской столовой.

– Что – я?..

– Ты посылаешь свои рукописи на разные там конкурсы?

– Нет. Мне это неинтересно.

– Мне тоже, – ответила Ана, издав губами неприличный звук, и мы обе расхохотались.

После университета мы устроились корректорами в газеты, которые, к сожалению, довольно скоро закрылись. И все же мы успели увидеть, как менялась обстановка, как замалчивалось обесценивание национальной валюты и как протестное движение и инакомыслие пытались сначала заглушить революционной демагогией, а потом – искоренить с помощью систематического насилия. Мы застали лучшие годы команданте, за которыми наступила эпоха восхождения к власти его преемников, пережили возрождение Сынов Революции и Революционной мотопехоты, мы видели, как наша собственная страна превращается в первобытные джунгли, где правят бал страх и голод.

Личные проблемы еще больше укрепили нашу дружбу. Попав в сходные обстоятельства, мы научились лучше понимать друг друга и оставались лучшими подругами на протяжении последних десяти-двенадцати лет. За это время я узнала Ану достаточно хорошо, чтобы сказать, что творилось у нее на душе. В мире существовали две вещи, которые не давали ей спокойно спать по ночам: мать, которая, овдовев, погружалась в пучины старческого слабоумия, и Сантьяго – «маленький братик», который был моложе Аны на десятилетие.

Самым отчетливым из моих ранних воспоминаний о нем до сих пор оставался момент, когда я увидела его на свадьбе Аны и Хулио. Тогда Сантьяго было пятнадцать, и он шагал по проходу между церковными скамьями словно нехотя и с тем независимо-вызывающим видом, какой часто встречается у подростков. В школе – самой дорогой частной школе Каракаса – он был одним из лучших учеников. Каждый год Ана, словно охваченная каким-то странным азартом, платила за его обучение астрономические суммы. Можно было подумать, будто деньги, которые Ана тратила на образование брата, были монетками, которые она опускает в невидимую свинью-копилку. «Он очень умный», – часто говорила она. Ума Сантьяго действительно было не занимать, но и самонадеянности у него хватало. И к тому, что он стал таким, приложила руку его собственная сестра. На вступительных экзаменах Сантьяго попал в десятку лучших абитуриентов. В университете он изучал экономику и бухгалтерский учет и, как часто твердила Ана, если бы страна не совершила самоубийство, со временем Сантьяго, несомненно, стал бы директором Центрального банка. Увы, этой возможности ему не дали. Сантьяго арестовали еще до того, как он успел окончить университет.

Сантьяго вернулся в гостиную, на ходу вытирая руки о джинсы. Сев напротив меня, он схватил со стола последнюю мятую сигарету и начал ее выпрямлять и разглаживать.

— Однажды, — продолжил он свой рассказ, — в Эль Дорадо прибыл отряд вербовщиков из группировки под названием Наследники Вооруженной Борьбы. Нас, студентов-заключенных, построили на самом солнцепеке во дворе. У нас уже мутилось в глазах от жары и жажды, когда во дворе появились восемь человек в балаклавах, которые принесли с собой целый мешок красных рубашек и вот таких вот масок... — Он кивком показал на лежавший на столе платок с изображением черепа. — Нам сказали: если мы хотим выбраться из тюрьмы живыми, мы должны пойти с ними. Никто из нас не спросил — куда. Любое место было лучше, чем то, где мы оказались.

— Я не знала, что тебя посадили в обычную тюрьму.

— Так поступали со всеми. Отправляя людей в Эль Дорадо или другие тюрьмы, СЕБИН избавлялась от тех, кто больше не приносил дохода. Нас отправляли туда на верную смерть, понятно?.. Эль Дорадо — это ад, настоящий ад! Тот, кто хотел там выжить, не мог позволить себе расслабиться ни на минуту! Даже спать там приходилось урывками, вполглаза, потому что в этой тюрьме каждый норовил тебя убить или изнасиловать. У многих заключенных в Эль Дорадо были припрятаны ржавые металлические штыри, которые они продавали новичкам по цене золота. В этих стенах мы должны были быть готовы к нападению каждую минуту.

Я попыталась прервать его, но Сантьяго замотал головой:

— Дай мне сказать, Аделаида!.. — Он достал зажигалку и прикурил. — У тех, кто не родился в тюрьме или не приучен сизмальства резать глотки, чтобы остаться в живых, нет ни единого шанса выбраться из Эль Дорадо. Именно так обстояло дело для нас, тех, кто стоял в тот день во внутреннем дворе... — Он выпустил изо рта еще один густой клуб дыма. — Вот почему я не стал долго раздумывать и сказал, что готов отправиться с первой же группой. Потом что-нибудь подвернется, решил я, но ждать подходящего случая пришлось намного дольше, чем я рассчитывал. Нам к тому же не вернули документы. Вместо этого администрация тюрьмы отдала наши

удостоверения личности предводителю команды вербовщиков, и он стал вызывать нас по одному. Он выкликал наши имена, сличал наши лица с фотографией в удостоверении личности и присваивал каждому из нас номер. Мой номер был двадцать пятый, и мне это даже понравилось: в будущем году мне как раз должно исполниться двадцать пять лет.

Я промолчала. С некоторых пор я предпочитала не думать о будущем.

— Что тебе не нравится? Думаешь, не доживу?..

— Я этого не говорила.

Несколько секунд мы молчали. Наконец Сантьяго снова заговорил:

— Нас посадили в автобус, прибывший за нами из какого-то приграничного городка. Мы ехали всю ночь, глаза нам снова завязали, а руки скрутили проволокой. Автобус жутко трясло на ухабах, но я все равно заснул. Впервые за несколько недель я проспал несколько часов подряд.

— Куда же вас отвезли?

— Когда нас вывели из автобуса и сняли повязки, я увидел огромный дождевой лес. Сначала я решил, что мы где-то на юге — в Боливаре или Амазонасе, но потом из разговоров руководителей я понял, что наш лагерь расположен где-то в центральных горах, между Каракасом и Гуареносом. Там нас продержали пятнадцать дней. Всё в лагере выглядело примитивным, сделанным на скорую руку. Нас учили самым простым вещам: бить, стрелять и так далее. Еще нам в самых общих чертах разъяснили принятые в группировке правила, в том числе — систему подчинения, которая запрещала нам выполнять приказы командиров других ячеек, с которыми мы могли столкнуться во время операций. Как только мы усвоили эти азы, вербовщик, который выступал перед нами в тюрьме и который время от времени появлялся в лагере, снова собрал нас и сказал: каждый, кто дезертирует или станет слишком много болтать, будет убит. А в подтверждение своих слов он велел привести парня, который попытался сбежать во время последней боевой операции. Нет, не так — вербовщик просто щелкнул пальцами, и бедняга, шатаясь, сам подошел к нему. Руки у него были связаны. Вербовщик схватил его за волосы и заставил опуститься на колени перед строем. Парень плакал,

корчился и умолял его не убивать, но вербовщик снова схватил его за волосы и заставил подняться. Потом он достал большой нож, повертел в руке, чтобы все видели, как сверкает остро отточенное лезвие, а потом одним взмахом перерезал несчастному горло. «Вот что случится с тем, кто попытается бежать или скажет кому-то хоть слово о наших боевых операциях», – сказал вербовщик.

– А что это за боевые операции? Это то, чем они занимаются каждую ночь?

– Это все, что угодно. Налеты, ограбления, избиения демонстрантов, внезапные нападения и прочее. Для этого «коллективос» нужны свежие силы. Именно поэтому они завербовали нас. Нет, мы действовали не от имени властей, но при их покровительстве и поддержке. Все, что нам удавалось захватить, попадало в руки вожаков – уголовных преступников, солдафонов и бандитов. Это... это совсем другие люди. Не такие, как в Ла Тумбе.

Он замолчал. Я думала, что Сантьяго закончил свой рассказ, но ошиблась.

– Теперь ты понимаешь, – добавил он после долгой паузы, – почему сегодня я был в маске?

Я не отвечала. Сантьяго переместил крошечный окурок из одного уголка губ в другой и посмотрел на меня.

– Извини, на этот раз я тебе ничего не оставил, – промолвил он с вымученной улыбкой, потом пригладил волосы. – У тебя больше нет пива?

– Нет. – Я покачала головой и почувствовала, как снова разболелся шов на голове.

– В таком случае я знаю, что я буду делать.

– Что?

– Лягу спать.

* * *

Аврора Перальта Тейхейро. Дата рождения: 15 мая 1972 г. Время рождения: 15:30. Место рождения: автономное сообщество Мадрид, городской район Саламанка, больница Ла Принцесса. Отец: Фабиан Перальта Вейга, уроженец Луго, Галисия. Мать: Хулия Перальта

Тейхейро, уроженка Луго, Галис́ия. Национальность: испанка. Основания для запроса копии свидетельства о рождении – заявление о выдаче паспорта и удостоверения личности Королевства Испания.

Рядом с заверенной копией свидетельства о рождении лежало письмо с печатью испанского консульства в Каракасе, список необходимых документов, талон с датой и временем, на которое была назначена выдача паспорта, и карточка с номером телефона для справок и консультаций. До визита в консульство оставалось еще две недели. В этот день – пятого марта – исполнялся ровно месяц со смерти моей мамы.

Я достала из шкафа чистое полотенце и простыню. Бросила их на обеденный стол. Вернулась в хозяйскую спальню и заперла дверь на задвижку. В верхнем ящике комода я обнаружила красную папку-скоросшиватель. В ней лежало еще одно свидетельство о рождении, выписанное на имя матери Авроры. Хулия Перальта родилась в Вивейро, маленьком испанском городке на побережье Луго, в июле 1954 года. Вместе со свидетельством и его копией я обнаружила также свидетельство о смерти Хулии, выданное муниципалитетом Каракаса.

Хулия умерла за несколько дней до того, как я впервые отправилась вместе с Франсиско в беспокойный приграничный район. Обычно я путешествовала очень мало, и в ту, первую дальнюю поездку отправилась по заданию газеты, в которой я тогда работала. Нет, не журналисткой – в редакцию меня взяли на должность корректора, но со временем я начала получать и другие задания. Мне приходилось и ездить в типографию, исправляя опечатки в заголовках, и перекомпоновывать новостную ленту, и совершать десятки телефонных звонков, чтобы подтвердить изложенные в статьях факты, хотя, по большому счету, это была обязанность авторов-журналистов. Никто, кроме меня, не смог бы выполнять столь разнообразную работу за такую маленькую зарплату.

Помимо всего прочего мне приходилось заниматься литературным редактированием материалов, которые присылал в газету наш ведущий политический обозреватель Франсиско, специализировавшийся на деятельности колумбийских повстанцев. Именно по этой причине редакционное начальство решило, что сопровождать Франсиско в очередной поездке в приграничные районы должна именно я, и никто другой. И в самом деле, кто справился бы с этим лучше? Мне

предстояло жить в гостинице в одном из городков вблизи границы до тех пор, пока не закончится операция, которую Франсиско должен был освещать. Я, разумеется, пыталась выяснить подробности предстоящей поездки, но мои боссы словно воды в рот набрали и только торопили меня с ответом. В конце концов я согласилась.

Когда я вернулась из редакции домой, чтобы собрать вещи, мама как раз собиралась идти на похороны Хулии Перальты.

– Что это значит – ты едешь на границу? Ты с ума сошла! Да все эти районы готовы вспыхнуть, как порох, стоит только спичку поднести. И потом, разве ты не пойдешь на похороны Хулии?..

– Я не могу, мама. Пожалуйста, передай Авроре мои соболезнования.

На похороны мама надела черное траурное платье. В повседневной жизни она никогда не носила черное. Этот цвет делал ее похожей на приезжую из какого-то крошечного захолустного городишки. Так оно, собственно, и было, но горе, которое она переживала сейчас, лишний раз напомнило маме о ее происхождении. Это было видно по ее лицу.

– Не забудь переодеться, как только вернешься домой, – сказала я прежде, чем направиться к двери. – Черное тебе не идет.

Мама неподвижно стояла посреди гостиной, разглядывая свое платье в зеркало. Я видела, что в глубине души она со мной согласна. Ее изможденное, застывшее лицо было воплощением печали, и я пожалела о своих словах. Поцеловав маму в щеку, я вышла.

В редакцию я вернулась возбужденная и взволнованная. Франсиско ждал меня в маленьком редакционном кафе рядом с отделом новостей, куда заглядывали все репортеры. Хозяином кафе был португалец с черными усами; он был родом из Фуншала^[28], а звали его Антонио. В кафе можно было встретить любого из сотрудников газеты за исключением разве что самого высокого начальства.

Франсиско пришел раньше меня. Сидя за столиком, он равнодушно потягивал черный кофе. В тот раз мы почти не разговаривали: похоже, Франсиско не совсем хорошо представлял, зачем я нужна ему в этой поездке. Что касалось меня, то его вид и манеры репортера первой величины наполняли меня недобрыми предчувствиями. Он меня просто подавлял. И все же мы продолжали

сидеть за столиком, убивая время и стараясь ненароком не начать тот бессодержательный разговор, который обычно заводят двое незнакомцев в случаях, когда им больше всего хочется, чтобы их оставили в покое.

Материал, ради которого мы должны были мчаться на другой конец страны, оказался довольно драматичным. Колумбийские партизаны похитили крупного предпринимателя, принадлежавшего к национальной элите страны – тогда таковая еще существовала. Согласно договоренности, его должны были отпустить на берегу реки Меты примерно в ста километрах от границы с Колумбией. Переговоры с похитителями взяли на себя родственники предпринимателя – режим команданте-президента в них почти не участвовал. Уже в те годы власти Венесуэлы укрепляли связи с Армией национального освобождения Колумбии^[29]. В обмен на обещание лояльности, вооруженной поддержки и немалые комиссионные от доходов, которые приносил трафик направлявшихся в Европу наркотиков, власти организовали для партизан безопасный коридор для перехода границы и разрешили им сплавлять свой груз по реке Ориноко.

Франсиско были даны гарантии неприкосновенности, чтобы он мог сопровождать военных посредников, обеспечивавших освобождение предпринимателя. Что касалось меня, то я должна была оставаться по нашу сторону границы, чтобы решать проблемы – добывать наличные или талоны на бензин, чтобы раздавать их на постах Национальной гвардии, или работать со сканером и портативным компьютером, чтобы передавать в редакцию фотографии и готовые материалы.

– Ты когда-нибудь бывала в приграничных районах?

– Нет...

– Н-да-а...

– Что – н-да?..

– Старайся не обращать на себя внимание. Не разговаривай с незнакомыми людьми и, самое главное, даже не вздумай рассказывать о том, кто ты такая и зачем приехала.

– Спасибо за предупреждение. До сегодняшнего дня я не знала, что нельзя разговаривать с незнакомцами.

Франсиско приподнял бровь.

– Ты еще поблаговаришь меня за это.

– Не сомневаюсь. – Обернувшись к стойке, я тоже заказала себе черный кофе.

– Кофе закончился. Нужно варить новый, – ответил Антонио.

– Заварите в кружке.

Португалец нахмурился.

– Не надо мне указывать. И думать за меня тоже не надо, договорились?

– Делайте как хотите, только пошевеливайтесь. Мы должны выехать отсюда еще до одиннадцати. Я буду снаружи.

Наша поездка заняла восемь часов, но в конце концов мы все-таки добрались до небольшого городка, расположенного к колумбийской границе ближе остальных. Дальше за ним никаких населенных пунктов не было, если не считать крошечных индейских поселков. За время нашего путешествия Франсиско произнес всего несколько слов. Сначала он спросил, в каких газетах я работала раньше. Потом сказал, что тоже не учился журналистике специально, и попытался объяснить, почему те, кто закончил университет, никогда не бывают хорошими журналистами. Стоило мне это услышать, как я сразу поняла, что не ошиблась: передо мной сидел самовлюбленный болван.

Моя первая командировка продолжалась две недели. Этого времени вполне хватило, чтобы я успела понять: реальность обладает довольно-таки паршивым свойством не совпадать с твоими взглядами и убеждениями. Это подтвердилось двояким образом: во-первых, правительство продемонстрировало куда большую, чем мы считали, способность нарушать свои же обещания, а во-вторых, я убедилась, что Франсиско отнюдь не законченный эгоист. (Первое я могла бы предвидеть, второе – никогда.) Разумеется, существовали и другие талантливые журналисты, возможно – еще более невозмутимые и хладнокровные. Возможно, нашлись бы и фотографы получше, чем он. Но до той первой командировки я еще никогда не встречала такого человека, как Франсиско. Он был мастером на все руки. Он писал блестящие репортажи и отлично фотографировал. Он постоянно выходил за рамки привычного и описывал события ярко и точно, успевая сделать это раньше, чем кто бы то ни было.

Когда в самом начале поездки мы расставались в крошечном городишке в тридцати километрах от колумбийской границы, где я

должна была остаться, чтобы координировать нашу работу, Франсиско неожиданно попросил у меня томик стихов, который я читала по дороге.

– Возьми, – сказала я. – Я пока обойдусь, тем более что поэзию нельзя глотать залпом.

Он поблагодарил и уехал.

После этого мы каждый день часами говорили по телефону. Франсиско диктовал мне свои статьи, я их стенографировала, а потом расшифровывала и набирала на компьютере. Из четырнадцати статей, которые я таким образом записала, тринадцати я дала новые заголовки. Это вызывало новый шквал звонков: Франсиско то сурово отчитывал меня за самоуправство, то договаривался о следующем сеансе связи.

– Я позвоню в пять, – говорил он. – И имей в виду, материал будет достаточно большой. Кстати, когда в следующий раз вздумаешь переименовать мою статью по-своему, хотя бы спроси разрешения. Если заголовок кажется тебе слишком длинным, так и скажи – я что-нибудь придумаю.

– Нет, твои заголовки вполне вписываются в газетный формат.

– Тогда почему ты их меняешь?

– Потому что они сбивают читателей с толку. Слишком туманные. Если бы ты прочел Хиля де Бьедму^[30] – поэта, книгу которого я тебе дала, – ты бы понял, насколько важна точность в заголовках.

Первые три дня Франсиско провел в лагере Вильявинченцо, однако ему так и не удалось понять, как именно команданте-президент намерен организовать спасательную операцию. Мы понимали, что правительство, возможно, и само еще этого не решило, однако у нас обоих появилось стойкое ощущение, что дело нечисто. Первоначальная дата обмена, на которую мы ориентировались, неожиданно была передвинута на пятнадцать дней, потом еще на два. Прошел месяц, но ничего не происходило. Не было никаких новостей. Страна замерла в ожидании. Думаю, по нашу сторону границы мало кто сомневался в том, что крупный предприниматель, наследник одного из самых больших состояний, вернется домой.

В те времена мы были абсолютно убеждены в том, что операция будет обставлена таким образом, чтобы впоследствии вожди революции могли важно надувать щеки, без конца рассказывая о своем удачном посредничестве. И сенсация действительно произошла, но

совсем не такая, как мы рассчитывали, и Франсиско пришлось писать статью, содержание которой было полностью противоположно тому, чего ожидали все. Но он сделал это, описав события точно и беспристрастно.

Франсиско был единственным репортером, которому удалось сфотографировать тело похищенного предпринимателя, которое партизаны бросили в двух километрах от организованного для них властями безопасного «коридора». Труп был завернут в джутовый мешок, покрытый пятнами засохшей крови. Предприниматель был мертв уже много дней. Его близких вынудили вести переговоры, которые были бесполезны с самого начала. Они заплатили за освобождение родственника четыре миллиона американских долларов, которые осели в казне колумбийской Армии национального освобождения, а взамен получили несвежий труп.

На следующий день после возвращения в Каракас я зашла в фотоотдел редакции. В руках у меня был сборник дневников Хиля де Бьедмы.

– Это тебе в качестве компенсации за то, что я меняла твои заголовки, – сказала я.

– Не нужно никакой компенсации. Твои заголовки были лучше моих. Гораздо лучше. – Франсиско покачал головой. – Раньше я не мог тебе этого сказать, а теперь могу.

Две недели спустя Франсиско неожиданно возник возле моего рабочего стола.

– На следующей неделе я снова поеду на Меру. Поедешь со мной?

– Опять на месяц?

– Нет, всего на пять дней. В этот раз нам не придется брать с собой много аппаратуры и каждый день отсылать в редакцию новую статью, но... Если бы ты поехала, я чувствовал бы себя спокойнее.

– Ты уверен?

– Я уверен в этом точно так же, как и в том, что если ты поедешь со мной, у всех моих статей будут прекрасные заголовки, которые никого не введут в заблуждение. Кстати, с начальством я уже говорил. Они дают «добро», хотя я и забираю с собой их лучшего корректора.

– Так и есть.

– Только не думай, будто ты мне чем-то обязана. Если не хочешь ехать – не надо. Попробую найти кого-нибудь другого.

– Когда ты уезжаешь?
– В следующий вторник. В воскресенье мы уже вернемся.
– Договорились, я буду готова.
– Не будет ли слишком дерзко с моей стороны попросить тебя...
– Попросить о чем?
– Захватить побольше книг, чтобы мы могли читать их в дороге.
– Я и так беру с собой слишком много. Ладно, разыщу для тебя книжки с картинками.

Франсиско улыбнулся. Раньше я никогда не видела, чтобы он улыбался. Тогда ему было сорок шесть, мне – под тридцать. Мы были вместе три года – ровно столько, сколько ему оставалось жить.

* * *

Я рассматривала свидетельство о смерти Хулии Перальты, словно это был групповой портрет, сделанный по необходимости и запечатлевший всех нас – сбившихся в кучу, с напряженными, неулыбающимися лицами, застывшими в ожидании ослепительной вспышки единственной на свете непреложной истины: люди умирают, люди заболевают смертельными болезнями, или их убивают. Они наступают не туда или не на то. Они взлетают на воздух и падают с лестниц. Люди умирают и по собственной вине, и от чужих рук. Но они умирают. И это единственное, что имеет значение.

В тот год, когда Хулия Перальта покинула этот мир, я встретила единственного человека, который ворвался в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда.

Впервые я овдовела в десять лет и снова стала вдовой в двадцать девять, за неделю до нашей свадьбы с Франсиско. Одной из группировок колумбийских партизан не понравилась фотография, которая принесла ему Иbero-Американскую премию свободной прессы, и они заставили его заплатить за нее своей жизнью. На фотографии Франсиско запечатлел своего собственного информатора после того, как колумбийцы с ним расправились. Каким-то образом партизанам удалось узнать, что именно этот человек рассказал журналисту правду: приказ об убийстве похищенного предпринимателя, освобождением которого правительство занималось

на протяжении нескольких месяцев, на самом деле исходил от того же правительства. От команданте-президента, если точнее. Информатора замучили и убили. На снимке он держал в руках собственную голову, в широко раскрытый рот которой были засунуты его же отрезанные гениталии. Эта разновидность казни предназначалась у колумбийцев исключительно для предателей.

Когда моя мама впервые увидела Франсиско, она оглядела его с ног до головы и неодобрительно покачала головой. Его рост, сказала она, – это единственное его положительное качество, искупающее множество недостатков. Франсиско действительно отличался высоким, без малого два метра, ростом и крепким, но пропорциональным сложением. Когда мы в первый раз занимались любовью, мне показалось, что я сломала ребро. К счастью, все обошлось, но я была достаточно близка к тому, чтобы получить серьезную травму. Но мне было наплевать. Я была влюблена. А вот мама Франсиско по-прежнему не одобряла. Ей не нравилось в нем все: его щетина, то, что он был намного старше и что у него было двое детей от первого брака.

– Ты уже взрослая и должна соображать, что делаешь, – сказала она, когда я заявила, что переезжаю к Франсиско. – Ты собираешься жить в его доме?.. Отлично. Только не забывай, что это его дом, а не твой. И дети тоже его, а не твои. Не уподобляйся тем безмозглым птицам, которые воспитывают кукушат, вместо того чтобы завести собственных птенцов.

Я ничего ей не говорила, а она не спрашивала. И все же мама с самого начала знала: я готова отправиться с Франсиско хоть на край света. Я была похожа на оглушенного анисовой водкой солдата, который сидит в траншее и ждет сигнала к атаке. Именно так, думала я, должна действовать на человека любовь, особенно если ее слишком много. Если бы у меня была возможность выбирать, какой будет моя жизнь, я бы выбрала вариант, в котором Франсиско всегда был рядом. В моменты нашей близости он как будто фотографировал меня ладонями и кончиками пальцев, и эти прикосновения стали для меня тем, с чем невозможно расстаться. Кроме этих прикосновений, у нас ничего не было; в отличие от множества пар мы любили друг друга без слов. Словами, кстати, Франсиско меня не баловал – он даже не говорил мне «до свидания», если без этого можно было обойтись.

О его гибели я узнала через два дня после того, как нашли тело, — узнала из новостных лент, которые начали поступать в редакцию из агентств новостей. «Лауреат Иbero-Американской премии свободной прессы Франсиско Саласар Солано найден с перерезанным горлом на берегу реки Мета в нескольких километрах от Пуэрто-Карреньо близ границы».

Река Мета.

Вонючий, отвратительный Стикс.

Франсиско выдал один из его источников. Не тот, которого колумбийцы убили раньше. Это был кто-то более наивный и простодушный. Я думаю, это был мальчишка, который некоторое время назад показал ему пустырь, где бросили труп первого информатора. Теперь настала очередь самого Франсиско. Партизаны сделали ему «колумбийский галстук» — перерезали горло и вытянули через рану язык. На границе это было самое обычное дело. Живых людей здесь превращали в гниющее мясо, которое кто-то другой превращал в новости и фотографии, появлявшиеся на следующий день на газетных стендах. Одиннадцатая заповедь, высеченная на каменных скрижалях или на позвонках перерубленной шеи: «Не болтай. Не смей высказывать свое мнение». Франсиско нарушил ее и угодил на кладбище — в галстук, который был совсем не похож на тот, который он так и не смог надеть на нашу свадьбу.

На похороны мама пошла вместе со мной. За все время она не произнесла ни слова. Так же в молчании мы вернулись домой. В словах не было нужды: мы обе любили мужчин, которые ушли навсегда.

Еще несколько дней спустя объявился свидетель, который видел, что произошло на берегу Меты. Еще один сбитый с толку соплук — партизаны часто использовали детей в качестве посланников. Он подошел к посту национальной гвардии и сказал, что хочет видеть начальника. Военным следователям мальчишка описал разрозненные эпизоды казни — те, которые ему было *приказано* описать. На этот раз партизаны послали того, кто просто в силу возраста не мог полностью осознать, что же он видел, и от этого в его невинной скороговорке особенно отчетливо звучал темный ужас смерти.

В той же красной папке, отделенные картонной прокладкой и засунутые в прозрачные пластиковые кармашки, лежали документы на три банковских счета – два из них были открыты в Венесуэле, один – в Испании. Изучая квитанции о переводах и депозитах, я поняла, куда девалось наследство, оставленное Авроре Перальте ее матерью. На обоих венесуэльских счетах хранилась сумма, которой едва хватило бы на месяц очень скромной жизни. На испанском счету лежала куда более значительная сумма – почти сорок тысяч евро.

Я внимательно просмотрела всё: карточки с персональными идентификационными номерами, балансовые отчеты, чековые книжки. Они лежали в отдельном конверте из плотной бежевой бумаги. Загруженные из интернета сведения о своих финансовых операциях Аврора Перальта распечатала на принтере и разложила в хронологическом порядке, пометив даты ярким маркером. Довольно скоро я выяснила, что испанское правительство каждый месяц переводило на счет Хулии одну тысячу двести евро – в том числе пенсию по старости в размере восьмисот евро, а также четыреста евро в качестве пособия по инвалидности. Последнее обстоятельство меня озадачило. Хулия была инвалидом?.. Но как она им стала? И когда?.. Сама я никогда не замечала, чтобы с ней было что-нибудь не так.

Потом я тщательно обследовала один за другим все ящики комода в поисках еще чего-нибудь полезного. Я была уверена, что Аврора Перальта держит где-нибудь в тайнике наличные евро. За бо́львары уже давно нельзя было ничего купить, так что даже преступники, похищавшие людей, требовали, чтобы выкуп им платили в иностранной валюте. Итак, тайник... Он должен быть где-то в квартире, но где?..

На верхней полке платяного шкафа, за коробкой с новогодними и рождественскими украшениями, я нашла резную деревянную шкатулку, покрытую толстым слоем черного лака. Рядом стояла шкатулка поменьше, в ней лежали газетные вырезки: статьи о нападениях террористов, произошедших несколько лет назад, а также несколько некрологов по случаю кончины Фабиана Перальты Вейги, отца Авроры. Здесь же было и его свидетельство о рождении, выданное отделом записи актов гражданского состояния города Вивейро в марте 1948 года. В отдельном пластиковом конверте лежала официального вида книжечка с надписью «Семейный архив» на синей

коленкоровой обложке. Один из ее листов представлял собой свидетельство о браке Хулии и Фабиана, которые поженились в июне 1971 года в городе Вивейро провинции Луго, откуда оба были родом. Их брак продлился почти два года: свидетельство о смерти Фабиана было датировано 20 декабря 1973 года.

Все газетные вырезки оказались от 21 декабря 1973 года и посвящались одному и тому же событию – взрыву «Доджа 3700», в котором испанский премьер-министр Луис Карреро Бланко возвращался из церкви. Взрыв был такой силы, что от премьер-министра не осталось и мокрого места. К несчастью, мастерская, в которой трудился Фабиан Перальта, находилась недалеко от церкви Святого Георгия, куда адмирал ездил, чтобы посетить воскресную мессу, и заложенная ЭТА^[31] мина уничтожила не только политика, которого генерал Франко назначил своим преемником. Могучая взрывная волна не только забросила двухтонный автомобиль Бланко на балкон близлежащего монастыря, но и убила отца Авроры. В одной или двух статьях, посвященных громкому террористическому акту, мимоходом упоминалось и об этой смерти, и я заметила, что эти вырезки лежат рядом с тремя некрологами на Фабиана.

Так вот почему Хулия всегда была мрачной, как подобает вдове, поняла я. И ничего удивительного, что Аврора выглядела точно так же, унаследовав от матери ее замкнутость и мрачную неразговорчивость. Смерть Фабиана Перальты заставила их рано постареть, постареть до срока и на всю жизнь.

Я помнила, что Хулия всегда носила темные платья до колен, которые ее очень старили, подчеркивая толстые бедра и лодыжки. Аврора в этом отношении была копией матери. Еще в детстве она выглядела серенькой мышкой, и даже с годами в ее облике не проявилось ничего, что сделало бы ее если не привлекательной, то хотя бы интересной. На меня она производила впечатление человека, который постоянно живет на границе между Венесуэлой и Испанией. Аврора не была ни молодой, ни старой, ни красивой, ни уродливой. Казалось, она изначально предназначена для места, куда попадают все, кто не принадлежит ни к одному определенному миру. На Авроре Перальте лежало проклятье человека, который слишком поспешил родиться в одном месте, а в другое попал слишком поздно.

В большой лакированной шкатулке хранились фотографии – много фотографий. Несколько из них были сделаны на свадьбе Хулии и Фабиана, которая выглядела довольно скромной, почти аскетичной. На одном снимке они были запечатлены у алтаря церкви, в которой было слишком много окон, на другом – за праздничным столом, в окружении гостей, которые, улыбаясь, поднимали бокалы за здоровье молодых. Третий – ростовой – снимок запечатлел Хулию Перальту в свадебном платье, тоже очень скромном: почти без декольте, рукава в три четверти, юбку из тяжелой ткани, напоминавшей скатерть, украшали две длинные, тщательно заглаженные складки. Стоящий рядом с невестой Фабиан был в деловом костюме и темном галстуке, туго завязанном на тонкой, как у цыпленка, шее. Ни он, ни Хулия не улыбались и смотрели не в объектив камеры, а мимо.

Кроме этих полуофициальных фотографий в шкатулке обнаружилось несколько любительских моментальных снимков с рукописными пометками на обороте. «Медовый месяц. 1971, Португалия». «День рождения Фабиана, авг. 1971 г., Мадрид», и так далее. На снимке, где молодая пара стояла у обеденного столика, Хулия была в просторном платье, из-под которого выпирал заметно круглившийся живот. «Рождество, 1971» – гласила надпись на обороте. На следующем фото я увидела группу людей, сидящих за столом, заставленным бокалами и блюдами с едой. «Новый год. Ужин с Пакитой, Фабианом и Хулией. 1971», – прочла я.

Судя по фотографиям, супруги Перальта ездили в Луго не слишком часто – снимков из Вивейро в шкатулке было всего несколько. На одном из них, датированном февралем семьдесят второго года, Фабиан криво улыбался, глядя на тарелку с запеканкой из морских моллюсков.

От тех же ранних годов сохранилось еще два снимка. На них супруги Перальта были одеты намного элегантнее, чем обычно. Он стоял очень прямо, одной рукой обнимая жену за плечи. Хулия держала на руках младенца. «Авроре один месяц. Июнь, 1972» – поясняла надпись. Под этим снимком лежал другой, датированный тем же июнем. На нем все трое стояли у входа в церковь Святого Георгия. Он был подписан: «Крестины Авроры. Июнь, 1972 г., Мадрид». Отложив его в сторону, я снова увидела знакомые церковные ворота. На этом фото младенца держала на руках светловолосая женщина,

выделявшаяся несомненной красотой, которой не могли похвастаться супруги Перальта. «Аврора и Пакита» – гласила сделанная аккуратным, сильно наклоненным почерком подпись.

Еще три фотографии относились к лету того же года, но были сделаны в Вивейро. На одной Аврора и ее отец были сняты на пляже. На другой, запечатлевшей какой-то семейный праздник, Фабиан протягивал фотографу блюдо с сардинами. На третьей я увидела уже знакомую мне блондинку – Пакиту. Одета в белое подвенечное платье, она широко улыбалась, держа за руку ничем не примечательного мужчину. Из всех трех снимков подписан был только этот: «Бракосочетание Пакиты и Хосе. Лето, 1972 г.».

Я перебирала снимки. Несколько фото были из серии «Аврора. Первые шаги», но среди них завалилась и фотография Фабиана, лежащего на зеленой травянистой лужайке. Она была озаглавлена «Фабиан и Пакита в Гвадарраме»^[32].

Снимки, относящиеся к семьдесят третьему году, были другими. Фабиана на них уже не было, а Хулия Перальта с Авророй на руках носила траур. На фото семьдесят четвертого года («1974, Мадрид») несколько человек собрались за праздничным столом, заставленным наполовину съеденными блюдами. Все они улыбались за исключением Хулии. На всех или почти на всех более поздних групповых снимках присутствовала белокурая Пакита, и я решила, что она, вероятно, приходилась сестрой Хулии или Фабиану. На фотографии семьдесят восьмого года Пакита в национальном платье держала на руках маленькую девочку. «Пакита и Мария Хосе» – поясняла надпись.

Сделанное в том же году фото Хулии Перальты отличалось от прочих своей аскетичной суровостью. На ней Хулия была в одежде уборщицы – в серой юбке и белом накрахмаленном фартуке. Ее волосы были собраны на макушке в пучок, затянутый в сетку. Рядом стояли еще семь женщин, одетых в точно такие же костюмы. «Добро пожаловать в штат сотрудников «Палас-отеля»! Мадрид, 1974 г.» – значилось на обороте.

Лежавшие в самом низу снимки отделял от сделанных ранее картонный прямоугольник с нанесенной карандашом выцветшей датой. Это были фото, относящиеся к венесуэльскому периоду жизни Хулии Перальта. Немного располневшая и уже не в трауре, она снялась в старой, лесистой части парка Акасиас. Три фотографии были

сделаны в парке Лос Каобос. На одном снимке Хулия стояла на фоне скульптуры «Ла Индия» в Эль-Параисо. На другом – на фоне модернистской скульптуры работы Алехандро Отеро на площади Венесуэла. Скульптура – или инсталляция – была выполнена из множества алюминиевых трубок и флюгеров. Теперь от нее ничего не осталось: весь металл растащили на лом. Еще снимок – Хулия Перальта позирует рядом с огромной пазлей. На этом фото мать Авроры улыбалась; пожалуй, это был единственный снимок, где она выглядела естественно. В правой руке Хулия держала длинную деревянную ложку. Слева от нее я увидела Рóмуло Бетанкура, который с пятьдесят девятого по шестьдесят четвертый год был президентом республики и подлинным отцом венесуэльской демократии. Под снимком было написано: «День рождения дона Рóмуло. 1980 г., Каракас».

В шкатулке было еще много снимков. На одном из них Хулия и ее дочь позировали на ступенях церкви Ла Флорида в одна тысяча девятьсот восьмидесятом году. А на самом дне шкатулки я обнаружила несколько почтовых открыток от Пакиты, которая продолжала слать их вплоть до того самого года, когда Хулия умерла.

Похоже, роясь в ящиках и шкафах в поисках денег, я обнаружила забытую историю двух женщин, рядом с которыми прожила столько лет.

В меньшей деревянной шкатулке, которую я просмотрела еще не до конца, лежал конверт, полный писем. Почти все они были написаны на тонкой гладкой бумаге между семьдесят четвертым и семьдесят шестым годом. Их писала Хулия, а адресованы они были Паките. В самом первом письме мать Авроры описывала свое путешествие из Мадрида в Каракас и прибытие в страну, которая поначалу показалась ей невероятной. «Тараканы здесь не меньше чем по полкило веса, – писала она. – ...Мы живем в очень зеленом районе, где много деревьев. В ветвях снуют попугаи и гигантские ары; каждое утро они прилетают на наш балкон, и мы их кормим. С жильем нам повезло – удалось найти квартиру за весьма умеренную плату». Впрочем, помимо описания домашних дел и забот Хулия весьма содержательно и точно описывала страну, в которой собиралась поселиться, – страну, где круглый год светит солнце и каждый человек может легко найти

работу. Это было правдой. В те времена в Венесуэле работу могли найти все иммигранты из Европы.

Многословные послания Хулии изобиловали подробностями – она описывала цвет и запах тропических фруктов, ширину улиц и шоссе. «Дома здесь больше, чем в Испании, и у каждого есть вся необходимая кухонная утварь. На днях я купила блендер и приготовила большую кастрюлю гаспачо^[33]. Мы храним его в холодильнике, чтобы есть на ужин». Хулия Перальта вообще очень много писала о том, что можно купить в Каракасе. Это были те же самые вещи, которые моя мать рассматривала в кухонном каталоге «Сирз» и которые мы покупали в огромных универсальных магазинах, после того как ходили поедать мороженого в «Крема́ параисо» в Белло-Монте.

В письме, датированном декабрем семьдесят четвертого года (оно было написано примерно через месяц после приезда в Венесуэлу), Хулия сообщала Паките, что обратилась к монахинями из университетского пансиона «для юных девушек» в Эль-Параисо, которые весьма благосклонно приняли ее рекомендательное письмо от шеф-повара мадридского «Палас-отеля». «Мать Юстиния оказалась именно такой, как ты описывала. Она очень благочестива и добра и до сих пор не утратила своего галисийского акцента, хотя прожила в этой стране уже больше десятка лет. Мать Юстиния говорит, что если я захочу, то могу заведовать в пансионе кухней».

Я уже разворачивала очередное письмо, когда за стеной раздался какой-то грохот. Это вернулись Генеральша и ее банда. Захлопнув дверь, они тотчас врубили на полную мощность реггетон, который я уже начинала ненавидеть: «*Tu-tu-tu-mba la casa, mami, pero que-tumba-la-casa, tumba-la-casa* – *Разнеси этот дом вдребезги, мама...*» Идиотская мелодия и нелепые слова буквально навязли у меня в зубах. «*Tu-tu-tu-mba la casa!*» Поднявшись с дивана, я прижалась ухом к стене, и мне показалось, что сейчас в моей бывшей квартире собралось гораздо больше женщин, чем в предыдущие разы. Их визгливые голоса звучали так громко, что порой заглушали даже музыку.

Стараясь производить как можно меньше шума, я вернула обе шкатулки на место. Я приложила все усилия, чтобы они стояли на полке точно так же, как раньше, и лишь впоследствии поняла, насколько это было странно с моей стороны. Странно и абсурдно. Кто

будет проверять, трогал ли кто-нибудь эти шкатулки? Но в тот момент я действовала так, словно Аврора и Хулия могут вот-вот вернуться и потребовать то, что принадлежит им по праву.

Красную папку я решила спрятать. Возвращение шума, который производила банда Генеральши, каким-то образом придавало этим женщинам почти сказочное могущество, каким они на самом деле не обладали. Страх, который я испытывала, заставлял меня думать, будто они способны проходить сквозь стены и видеть, что я делаю. Со стороны это может показаться глупым и смешным, но мне было не до смеха. Я была в ужасе. Мало того, что я забралась в чужую квартиру, так теперь вместе со мной в ней находился человек, о котором я, по правде говоря, ничего не знала. Сантьяго – нынешний Сантьяго – мог оказаться кем угодно: жертвой, убийцей, провокатором, доносчиком.

Но, оглядевшись по сторонам, я немного успокоилась. По крайней мере, в этой комнате я была совершенно одна, и никто не мог меня ни видеть, ни слышать – разве только я специально начну шуметь. Тем не менее мне необходимо было действовать, и побыстрее. Я шагнула к центру комнаты, и тут мой взгляд упал на оклеенную обоями цвета слоновой кости стену, где висела репродукция «Мадонны Иммакулаты» Мурильо (точно такая же мадонна висела в хозяйской спальне моих теток в пансионе сестер Фалькон). Подойдя к ней, я сняла картину со стены. Когда я ее перевернула, к моим ногам упал заклеенный липкой лентой конверт.

В конверте лежала пачка пятидесяти- и двадцатиеuroвых банкнот.

* * *

В Ла Энкусихаде – между Турмеро и Пало-Негро – возвышалась ржавая железная башня с огромными буквами «П. А. Н.» на боку. Это был мукомольный завод, который производил кукурузную муку – продукт, которым на протяжении десятилетий кормилась вся страна. Лепешки-арепас, пироги-альяки, булочки-альякитас, сдобы, печенье и много чего еще – все делалось из этой муки. Зерно для производства муки хранилось на элеваторе Ремавенка, который был виден из окон автобуса, когда до Окумаре-де-ла-Коста оставалось еще больше ста пятидесяти километров. Это было главное зернохранилище штата

Арагуа, где родилась моя мать: наряду с ромом и сахарным тростником кукурузная мука служила одним из основных видов сельскохозяйственной продукции края. Она продавалась в больших желтых пакетах, с которых улыбалась миловидная женщина с неправдоподобно красными губами в гигантских серьгах и пестром платке. Эта женщина была местной, провинциальной версией Кармен Миранды – известной бразильской актрисы и певицы, чей музыкальный альбом «Сделано в Южной Америке» открыл перед ней двери домов всех венесуэльцев и американской «ХХ Сенчури Фокс».

Мукой «П. А. Н.» были вскормлены тысячи мужчин и женщин, но с наступлением эпохи всеобщего дефицита и жесткого rationирования она исчезла из магазинов и стала роскошью. Теперь эта произведенная промышленным способом мука, запечатлевшись в наших воспоминаниях в виде самых разнообразных лакомств и домашней выпечки, стала символом подлинной демократии: ее ели и бедняки, и богатые, и чиновники, и солдаты.

Технология промышленного производства муки была сродни новому способу обработки хмеля, с помощью которого знаменитый немецкий пивовар умиротворил некую страну, которая то бражничала напропалую, то развязывала очередную войну. Она же привела к исчезновению *пилонерас* – так называли женщин, которые рушили кукурузные зерна с помощью тяжелого песта в толстых деревянных ступках, вырезанных зачастую из деревьев, которые некогда бросали благословенную тень на уютные патио старинных усадеб. За работой женщины пели. Их протяжные, как молитва, и ритмичные, как удары песта и тяжелый стук крупных капель пота, песни получили название «кантос дель пилон» – «песни песта».

Работа пилонерас была не из легких. Удар за ударом несчастные женщины разбивали твердые зерна маиса или кукурузы, сокрушая твердую оболочку и превращая нежное, сладкое ядро в тончайшую муку, из которой в специальных дровяных печах выпекали хлеб насущный для всей страны, в которой свирепствовала малярия. Именно с тех пор сердце венесуэльского народа стало биться в ритме «песен песта».

Зерно в ступке обычно рушили не одна, а две женщины. За работой они переговаривались – часто не в рифму, но в их диалоге был особый музыкальный размер, определявшийся движениями рук,

сжимавших тяжелый деревянный пест. Так возникли песни, которые словно подтверждали древнюю истину: несчастья – такая же данность, как солнце или деревья, сгибающиеся под тяжестью сладких, спелых плодов. «Песни песта» вбирали и сохраняли в себе обиды и огорчения необразованных венесуэльских крестьянок, которые давали выход своему разочарованию, изо всех сил вонзая песты в золотое зерно. И каждый раз, когда я проезжала мимо Ла Энкрусихада, я вспоминала эти песни, которые слышала в детстве.

– Аделаида, дочка, просыпайся. Мы уже почти у фабрики Ремавенка...

Но маме не нужно было ничего говорить – мое сердце уже чувствовало густой запах ячменя. Ароматы пива и хлеба мне всегда нравились, и я запела песнь, которой научилась у старух в Окумаре:

– Бей пестом сильнее, йо-о, йо-о!..

– Чтобы наконец раздробилось зерно, йо-о, йо-о... – негромко вторила мне мама.

– Шлюха ты и твоя мать...

– Пожалуйста, Аделаида, не нужно петь этот куплет!

– Твоя тетка тоже б...! – пропела я и засмеялась.

– Нет, дочка, пой, как тебя учила тетя Амелия:

У меня уж от песта, йо-о, йо-о,
Разболелась голова, йо-о, йо-о,
Поросенка откормлю, йо-о, йо-о,
Блузку я себе куплю, йо-о, йо-о...

В городе чернокожие женщины напевали эти песни, стоя на рынке возле больших сковородок, в которых кипело масло. Их руки проворно двигались, лепя пирожки или лепешки-арепас, а губы выводили: «...Йо-о, йо-о!»

Там на горке на высокой,
йо-о, йо-о!..
Свадебку справляют,
йо-о, йо-о!..
Муж губастый, как осел,

йо-о, йо-о!..
Шею выгибает,
йо-о, йо-о!..

Он теперь тебе супруг,
йо-о, йо-о!..
Ты его и забери,
йо-о, йо-о!..
Он ночнушки из кретона,
йо-о, йо-о!..
Никогда мне не дарил,
йо-о, йо-о!..

Они пели, накрыв головы пестрыми платками и выдыхая сигаретный дым. Их песня была как стенание, как жалоба многих поколений женщин, которым судьба дала только руки, чтобы прокормить многочисленных детей, которых безостановочно производило их лоно, разорванное в клочья слишком частыми родами, – суровых женщин с огрубевшими сердцами и сухой, как пергамент, кожей, сожженной солнцем и жаром печей и костров, женщин, которые сдабривали лепешки горько-сладким анисом своих печалей.

У него лицо дьявола,
йо-о, йо-о!..
У него сердце демона,
йо-о, йо-о!..
И язык как у аспида,
йо-о, йо-о!..
Черный, лживый, раздвоенный!

Мне женатого не надо,
йо-о, йо-о!..
От него воняет гадко,
йо-о, йо-о!..
Холостой мне в самый раз,

йо-о, йо-о!..
Пахнет он, как ананас,
йо-о, йо-о!..

Существовали песни для каждого занятия, для каждого ремесла, канувшего в небытие после того, как деревенские жители, заслышав голос нефти и перебравшись в города, позабыли немудрящие напевы, которые определяли их место в мире. Песни доярок, песни землекопов, песни мукомолов и пекарей – все они были «лицом» той или иной профессии. Одними из самых печальных были «канто дель трапиче» – песни давилщиц, – которые описывали процесс извлечения сладкого сока из стеблей сахарного тростника – сухих сладких стеблей, которые иногда падали с грузовиков, доставлявших их в город из долин Арагуа. Я сосала эти сладкие стебли, спрятавшись под столом в гостиной пансиона сестер Фалькон. Если мама заставляла меня за этим занятием, меня ожидали серьезные неприятности. Попад в желудок, концентрированная глюкоза нарушала его нормальную работу, вызывая метеоризм и расстройство, – так ром нарушает работу грубых мужских мозгов. «Революция» в животе была побочным эффектом праздника души, да и кончалось и то и другое извержением всего, что мы носили в желудке, в сердце и в крови.

«Песни песта» считались женскими. Их слова и мелодии рождались в моменты тишины, когда жены и вдовы – женщины, которые ничего не ждали, потому что ничего не имели, – коротали время в приятном ничегонеделании.

Я вчера в окне видала,
йо-о, йо-о!..
Как ты косы заплетала,
йо-о, йо-о!..
И подруге я сказала,
йо-о, йо-о!..
Вот бесстыдница какая!
Йо-о, йо-о!..

Не зови меня бесстыжей,

йо-о, йо-о!..
Не зови меня гулящей,
йо-о, йо-о!..
Зови скромной, работающей,
йо-о, йо-о!..
Потому что я такая!
Йо-о, йо-о!..

Шлюха ты и твоя мать,
йо-о, йо-о!..
Твоя тетка тоже б...,
йо-о, йо-о!..
Я же скромная девица,
йо-о, йо-о!..
А браниться не годится!
Йо-о, йо-о!..

Дура день и ночь мечтает,
йо-о, йо-о!..
Что заслуживает рая,
йо-о, йо-о!..
А сама живет в сарае,
йо-о, йо-о!..
Где всюду сквозняк гуляет,
йо-о, йо-о!..

Эту песню моя тетка Амелия (та, что была толстой) пела мне в кухне. Давясь смехом, она потребовала, чтобы я пообещала молчать, если мама нас застукает. Я повторяла за ней слова, как грустный, тощий попугай – мои руки и ноги-спички не шли ни в какое сравнение с монументальными формами стоявшей у плиты черноволосой женщины, тело которой напоминало величественный собор, где славят одни только плотские удовольствия. Она пела и пела, помешивая в кастрюле свиное рагу, и ее голос с каждым куплетом наливался силой, словно пожар в селове.

* * *

Приоткрыв окно, я осторожно выглянула на нашу лишенную деревьев улицу. В воздухе плыл горький дым, но мне каким-то образом удалось различить запах жареного кукурузного хлеба. Прикрыв глаза, я вдохнула поглубже, словно втягивая в себя последние обрывки прошлой жизни – жизни, которая обратилась в кучу тлеющего хвороста. Да, жизнь – это то, что уже прошло, пронеслось, пролетело. Это то, что мы сделали и *не* сделали. Это блюдо, на котором нас разрёзали пополам, словно не успевший как следует подняться каравай дрожжевого хлеба.

* * *

– Ты заперла дверь спальни. Неужели ты до такой степени мне не доверяешь?

– И тебе доброго утра, Сантьяго. Я спала хорошо, спасибо, что поинтересовался. Только не ори так – я не хочу, чтобы женщины в соседней квартире обнаружили мое присутствие. Кстати, полотенце на столе – для тебя. Пользуйся.

И я снова подошла к окну. Дымящаяся баррикада по-прежнему оставалась на месте. Никто не побеспокоился сдвинуть мусорные контейнеры в сторону и убрать площадь, которая все еще была завалена вывороченными из мостовой цементными плитками, палками и разбитыми бутылками.

Авроры Перальты больше не было. Она превратилась в неопрятный обугленный холмик, не имевший ничего общего с человеком или даже с трупом.

Все в порядке, подумала я.

В окно я смотрела дольше, чем обычно, – воздух улицы ввел меня в подобие ступора. На асфальте внизу темнели пятна крови и блестело разбитое стекло. Чуть дальше, со стороны Ла Каль, двигалась по проспекту Пантеон группа «коллективос» на мотоциклах. Их было больше тридцати, и ехали они странными зигзагами. Некоторые держали в руках мегафоны и выкрикивали свое обычное: «Они не пройдут! Они не вернутся! Да здравствует Революция!»

Да, революция здоровствовала. На трупах.

– О чем ты задумалась? – вернул меня к действительности голос Сантьяго.

– О том, как бы поскорее выставить тебя отсюда, – ответила я, не оборачиваясь.

Наверное, это прозвучало грубо, но меня раздражала его агрессивная, требовательная манера задавать прямые вопросы, раздражала его решительность, делавшая Сантьяго похожим на военачальника, решающего сложную тактическую задачу.

– Тебе нельзя здесь оставаться, – добавила я. – У тебя есть место, где спрятаться?

– Почему нельзя?

– Потому. Ты должен уйти, Сантьяго. Не сейчас, но скоро. Позвони Ане, позвони друзьям, позвони еще кому-нибудь...

– Мне некуда идти.

– Мне тоже. И той пожилой сеньоре, которая переходит дорогу, тоже некуда идти. И тысячам других людей, которые сходят с ума в этом городе, – им всем тоже некуда идти. Уж наверное, кто-нибудь из твоих друзей по университету смог бы приютить тебя на несколько дней.

– Ах да, конечно! Ты права, Аделаида! Как я не подумал – моих друзей по университету уже давно выпустили из Эль Хеликоид^[34], и они будут рады спрятать меня у себя. Или нет, у меня есть идея получше!.. Я должен вернуться на нашу базу в Негро-Примеро. Головорез, который там всем заправляет, будет очень рад услышать мой рассказ о том, как я заблудился на улицах своего родного города и не смог вернуться в лагерь вчера вечером. – Он охлопал карманы джинсов в поисках сигарет, но ничего не нашел. – ...А поскольку им прекрасно известно, что я не дурак и предпочитаю держаться особняком, они ни за что не заподозрят, что я что-то кому-то рассказал. Высшее командование отнесется к ситуации с пониманием и сделает все, чтобы помешать парням из лагеря пустить мне пулю в башку.

Сантьяго скрипнул зубами. Он смотрел на меня темно-кариими глазами вундеркинда-отличника, являя собой улучшенную версию подростка-ласаллианца^[35], которого я когда-то знала. Сантьяго был высоким и тощим, как шест, которым сбивают созревшие манго; подбородок резко очерчен, лицо худое и высокомерное, глаза горят.

Телосложение у него было как у взрослого мужчины, но чего-то не хватало – быть может, свойственной взрослым уверенности, солидности. Он приходился Ане младшим братом, и поэтому я тоже относилась к нему как младшему. Как мне казалось, это давало мне моральное право дать ему хорошую затрещину, но я удержалась, потому что его и так слишком много били.

– Сантьяго, прекрати! Сейчас не время для сарказма.

– Ты, кажется, меня поучаешь? Да что с тобой, Аделаида?.. Почему бы тебе не рассказать мне все начистоту? Это не твоя квартира. Раньше ты жила не здесь: в этой квартире нет ни одной книги, к тому же ты даже не знаешь, где лежат стаканы и тарелки. Как ты сюда попала? Ты не из тех, кто посвятил бы свою жизнь борьбе и уличным столкновениям. Что же случилось? Почему ты бежала как сумасшедшая? Что ты искала? От чего пыталась избавиться? Когда я тебя... когда я тебя встретил, у тебя было такое лицо, какое не часто увидишь даже в нашем городе. Тебе очень повезло, что я наткнулся на тебя первым, иначе кто-нибудь непременно тебя избил, изуродовал или просто пристрелил.

– Да тише ты!.. Не кричи. Что касается нашей встречи, то она была случайностью. Я все еще в состоянии сама о себе позаботиться. В отличие от тебя... И ничего тебе объяснять я не собираюсь. Я достаточно взрослая, чтобы ни перед кем не отчитываться, в особенности – перед мальчишкой, который вообразил о себе невесть что. Я знаю, что ты прошел через ад и что тебе некуда идти, знаю... Но и ты тоже должен кое-что понять. Ты говоришь, что мы с тобой по уши в дерьме. Допустим, это так. В таком случае и тебе, и мне нужно сделать что-то, чтобы из этого дерьма выбраться. Тебе я советую как можно скорее отправиться домой к сестре. Я тебя не гоню: два дня можешь оставаться здесь – тебе нужно отоспаться и все как следует обдумать, но потом... потом ты должен уйти. Я... моя жизнь сложилась так, что у меня не было детей, и я не хочу, чтобы ты стал моим первенцем. Иными словами, нянчиться с тобой я не собираюсь.

За те часы, которые мы провели в этой квартире, я еще ни разу не видела Сантьяго таким потрясенным, таким растерянным. Сложив на груди руки и опустив голову, он так внимательно разглядывал гранитную плитку под ногами, словно надеялся прочесть на ней ответы на свои вопросы.

– Ты понял?.. – спросила я все еще сердито.

Долгое молчание было мне ответом. Тишина тянулась и тянулась, пока мне не начало казаться: еще немного, и я просто захлебнусь тишиной.

– Да, Аделаида, – выдавил он наконец. – Я понял.

– Вот и хорошо. А теперь пойду-ка я на кухню, поищу чего-нибудь перекусить. Я страшно проголодалась.

В кухне я открыла старый буфет Авроры Перальты – со стеклянными дверцами, полками и ящиками для столового серебра. Внутри я увидела две стопки суповых и десертных тарелок севильского фарфора – таких же, какие были у нас, только сервиз Авроры был более полным. Особенно мне понравились предметы, которых у нас не хватало: тонкие костяные супницы, кофейные чашки, блюда для рыбы и тортов. Взяв в руки одну из тарелок, я внимательно ее осмотрела и убедилась, что они были изящнее, чем наши, да и рисунок на них выглядел более тонким, что заставило меня усомниться в подлинности фарфора, который мама так берегла, думая, будто он имеет какую-то ценность. Сама я никогда по-настоящему не верила, что мы с мамой едим с таких же тарелок, какие Амедео Савойский^[36] заказывал для королевского дома Испании, и сейчас, глядя на сервиз Авроры, я подумала, что, пожалуй, я была права. Тарелки семьи Перальта были гораздо больше похожи на настоящий севильский фарфор, чем наши.

Внезапно мне с особенной остротой захотелось быть нормальным человеком и есть с таких тарелок с помощью вилки и ножа. Обстоятельства превратили меня в падальщицу, в гиену, и все же я считала, что это не повод опускаться. Даже падальщики могут соблюдать правила приличий.

В других ящиках я нашла несколько жестянок с консервированными фруктами, мукой, макаронами, а также несколько бутылок с питьевой водой. Здесь же оказалось немного кофе, сахар, порошковое молоко и три бутылки испанского вина из Рибера-дель-Дуэро. Запасов консервированного тунца могло хватить примерно на неделю, то же самое относилось и к обжаренному перцу и оливкам. Подбор продуктов был чисто испанским, что выглядело вдвойне странно для города, в котором нельзя было купить даже простого хлеба.

Обследовав холодильник, я обнаружила там полдюжины яиц, полбанки мармелада из гуавы и тубик мягкого сыра. В овощном ящике лежало несколько луковиц и помидоров – еще вполне съедобных, а в морозильнике – шесть порций мяса в пенополистироловых поддончиках. Глядя на них, я испытала сильнейшее желание поджарить себе хороший, сочный бифштекс с кровью, чтобы утолить уже давно терзавшее меня чувство голода. В последние дня я почти ничего не ела и начинала заметно слабеть. Я уже потянулась к мясу, но вспомнила о Генеральше и ее банде, которые, несомненно, отреагируют на запах. Правда, они, наверное, были не так голодны, как хотели показать, – в конце концов, в их распоряжении было достаточно пакетов и коробок с продуктами, которые правительство раздавало своим верным прислужникам, однако рисковать мне не хотелось.

Я вернулась в гостиную. Сантьяго все еще был там.

– Пойдем, поедим, – сказала я. – Пива больше нет, зато я нашла вино.

Он не ответил. Он стоял, повернувшись спиной ко мне, – темный силуэт на фоне льющегося в окно света – и был похож на призрака. Голова Сантьяго была опущена, плечи поникли, спина сгорбилась.

Я снова ушла на кухню. Достала помидоры, банку тунца и пару яиц, чтобы сварить вкрутую. В одном из ящиков буфета я нашла дюжину чистых белых скатертей, сохранившихся, вероятно, еще с тех времен, когда Аврора держала кафе. Одну из них я расстелила на столе, словно флаг парламента, взяла из разрозненного набора два бокала и откупорила вино. Потом я снова вернулась к Сантьяго, который по-прежнему разглядывал свои башмаки.

– Идем, – сказала я, и он послушно побрел за мной. В кухне я разлила вино и села за стол. Сантьяго проглотил свой бокал залпом и вдруг спросил о своей матери, которая лежала в больнице «Саграрио».

– Ты не знаешь, как она? Ей не хуже?

– Вот уже несколько недель всё без изменений. Твоя мама пребывает в мире, который находится на границе между нашим и тем, другим, – сказала я, и он вздохнул. – Попробуй все же взглянуть на вещи позитивно, – добавила я. – По крайней мере, она ничего не знает о том, что происходит, и не удивляется, почему ты не приходишь ее навестить.

– Она... она меня не помнит?

– Твоя мама не узнаёт даже Ану. Старческое слабоумие, если не использовать лекарства, быстро прогрессирует, но где их взять, эти лекарства?

– Как же Ана о ней заботится?!

– Я сама часто себя об этом спрашиваю. Если Ана за это время не сошла с ума, то только потому, что вокруг происходят еще более страшные события. В таких обстоятельствах нельзя медлить или слишком долго раздумывать – приходится все время куда-то бежать, двигаться, иначе начнешь просто разваливаться.

Сантьяго уставился на дно своего бокала. Неожиданно он спросил, отчего умерла моя мама. Когда я сказала, что от рака, он нахмурился.

– Как же они делали ей химиотерапию? В больницах уже давно нет нужных препаратов... да там вообще ничего нет!

– Я покупала препараты на черном рынке. И каждый раз боялась, что мне подсунут что-нибудь не то.

– Рак – это хреново, – проговорил он, продолжая разглядывать скатерть.

– А как насчет всего остального, Сантьяго? Как насчет правительства, как насчет продуктов по карточкам и прочего?.. Страна буквально на ладан дышит...

– Я имел в виду, что тебе никто не помогал.

– Мы с мамой привыкли обходиться своими силами.

Я встала и аккуратно положила нарезанные помидоры и кусочки тунца на тарелки. Интересно, думала я, как мы будем пополнять запасы еды и воды, если придется сидеть взаперти слишком долго? Сантьяго нельзя было показываться на улице ни при каких обстоятельствах. В отличие от него я могла выходить, но мне не хотелось оставлять Сантьяго в квартире одного. Мне необходимо было еще раз ее обыскать – и как можно тщательнее. Кроме этого, мне предстояло сделать еще немало дел, в которые мне не хотелось его посвящать. С другой стороны, Генеральша и ее банда были совсем рядом, и если я стану вести себя *слишком* тихо, они могут вообразить, будто эта квартира пуста, и попытаться прибрать к рукам и ее.

Сантьяго снова заговорил, отвлекая меня от моих размышлений.

– Странно, Аделаида, что я совсем не помню тебя молодой...

Его слова неожиданно больно меня задели. Схватив одно из вареных яиц, я принялась очищать скорлупу.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что я старая?

– Нет, я не это хотел сказать... – Он немного помолчал, словно давая словам набрать инерцию. – Я имею в виду – ты же училась с Анной в университете, но почему-то я тебя совсем не помню. Мне кажется, я впервые увидел тебя только у нее на свадьбе. Не знаю, почему, но Анна постоянно о тебе рассказывала, и...

– А со мной она постоянно говорила о тебе, Сантьяго. Она считала тебя гениальным ребенком и делала все возможное, чтобы ты ни в чем не нуждался. Надеюсь, когда-нибудь ты найдешь способ отблагодарить сестру за все, что она для тебя сделала.

– А тот фотограф, с которым ты приходила к Анне на свадьбу?.. Почему его убили именно так?

Вопрос показался мне бестактным, хотя он и был предельно точным. Как именно убили Франсиско?.. Да очень просто – перерезали горло и вытащили язык через рану. Вот только отвечать мне было совсем *не* просто.

– Потому что он писал статьи, в которых разоблачал темные дела правительства, и оно ему этого не простило.

– Извини. Сам не знаю, почему я спросил...

Внезапно и резко прозвенел дверной звонок. Сантьяго машинально повернулся в сторону двери, потом посмотрел на меня. Я поднесла палец к губам.

– Тише! Не открывай. И вообще не шевелись.

И я принялась давить пальцем на скатерти яичную скорлупу. Бог знает, зачем я это делала – должно быть, от нервов. Звонок прозвучал снова. Он длился целую вечность, вгрызаясь в наши головы, точно сверло. В этом городе внезапный звонок в дверь не предвещал ничего хорошего, а в нашей ситуации – в особенности.

Прошло десять минут. За все это время ни один из нас не издал ни звука. Потом за дверью раздались шаги, и я, на цыпочках выбравшись в прихожую, заглянула в «глазок». В коридоре я увидела троих мужчин в обычной гражданской одежде – на них не было ни красных рубашек Сынов Революции, ни черных жилетов СЕБИН, ни оливково-зеленой формы Национальной гвардии. И все же все трое выглядели как

преступники, как уголовники. Один из троицы – судя по всему, он был главным – все еще стоял перед дверью квартиры Авроры Перальты.

– Это не та квартира, Хайро, – сказал один из его спутников. – Нам нужна вот эта.

– Заткнись, – отозвался Хайро и, шагнув к дверям моей бывшей квартиры, надавил кнопку звонка. Сквозь стену гостиной было хорошо слышно, как он звенит. Я прислушивалась к его трели и чувствовала, как внутри меня растет страх. Сантьяго... Его присутствие представляло для меня главную опасность, и он это понимал.

Но услышав за стеной шаги обутой в шлепанцы женщины, которая шла открывать, я испугалась еще больше. Что означает появление этих мужчин? Зачем они пришли? Кого они ищут? Может, они явились захватить квартиру, которую считали пустой? Или они шли по следу Сантьяго? В коридоре было полутемно, к тому же в дверной «глазок» не очень-то много разглядишь, но я продолжала прижиматься к двери лбом и обеими руками, словно пыталась остановить поезд. Мое тело против локомотива Революции. Враги прогресса пустили его под откос, и теперь он падал прямо на нас, грозя раздавить.

Рядом я ощутила присутствие Сантьяго. Он тоже вышел в прихожую и просительно сложил руки перед собой. Он хотел, чтобы я дала ему посмотреть. Ну что ж, если кому-то хочется взглянуть на тех, кто пришел отрезать ему голову, кто я такая, чтобы мешать? Я отступила в сторону, и Сантьяго припал к «глазку». Мне, впрочем, был отлично слышен голос Генеральши, которая отворила дверь и пригласила мужчин войти. Музыку она выключила, а своих баб отослала в комнаты. Следуя за голосами, я перебралась в спальню, вскоре туда же перешел и Сантьяго. Я немного подвинулась, чтобы мы оба могли прижаться к стене и подслушать, о чем говорят Генеральша и пришельцы.

Разговор оказался сугубо деловым, без каких бы то ни было экивоков. Судя по тому, что мне удалось услышать, мужчины были прекрасно осведомлены о побочном бизнесе Генеральши, и он им не нравился. Похоже, у ее полномочий имелся свой предел, и мужчины пришли, чтобы ей об этом напомнить. У Революции была своя иерархическая лестница, свои законы и правила, которыми Генеральша пренебрегла.

– Скажу прямо, – сказал ей мужчина, которого я сочла главным, – нам известно, что твой брат работает в Народном министерстве продовольствия и сельскохозяйственной безопасности. Нам также известно, что ты незаконно получаешь дополнительные пайки в местном Комитете по обеспечению продовольствием. Мало того, что ты их перепродаешь, детка, это еще полбеды... Главное, ты ни с кем не делишься своими доходами. Это нехорошо. Очень нехорошо.

Генеральша ничего не ответила. На мгновение я даже пожалела, что мы не можем видеть выражение ее лица, хотя, возможно, никакого особенного выражения на нем не было.

– Ты меня слушаешь?.. – Судя по тону, Хайро начинал терять терпение. – Нам прекрасно известно, что ты продаешь спекулянтам продукты, предназначенные для твоих соотечественников. Мы знаем, что здесь твой основной склад. Так больше продолжаться не может. Команданте не хотел, чтобы люди, которые защищают его идеи, обогащались на этом. То, что принадлежит одному, принадлежит всем.

– Это мое, – произнесла наконец Генеральша. – Я первая это достала.

– Это не твое, детка. Вбей это себе в голову. Нам не нравится, когда кто-то использует имя команданте в своих целях. Кроме того, ты повела себя крайне эгоистично. Я повторять не буду: либо верни комитетскую продовольственную помощь, и мы оставим тебя в покое, либо приготовься к неприятностям. Крупным неприятностям.

Мы с Сантьяго переглянулись, не отрываясь от стены. Судя по голосу, Генеральша растеряла большую часть своей храбрости.

– Я же не делаю ничего плохого. И потом, я не одна такая... Многие поступают точно так же, – пробормотала она чуть ли не извиняющимся тоном.

– Ты отдашь нам продукты или нет?! – рявкнул Хайро.

Генеральша не ответила.

– Я два раза не повторяю... Если я узнаю, что ты продолжаешь перепродавать rationy, тебе конец. Ты и спрятаться не успеешь. Имей в виду, второй раз я предупреждать не буду.

Генеральша по-прежнему не отвечала. Тишина тянулась и тянулась, становясь все более напряженной. Наконец раздался грохот захлопнутой двери и удаляющиеся шаги мужчин. Примерно через

минуту, когда они сели в лифт и начали спускаться, Генеральша заорала на своих женщин, которые вышли к ней в прихожую:

– Ну-ка, живо! Упакуйте все это обратно, завтра мы отсюда уходим! Пакеты, которые мы отложили, продайте как можно скорее. Рационы, которые еще не розданы, – немедленно отнести получателям!

– Но их же так много! – возразила одна из женщин.

– Значит, придется поднапрячься. Я ведь дала тебе список?.. Так вот, найди его и посмотри, сколько там человек. Вечером может пойти дождь из дерьма, поэтому нам нужно вытащить все это отсюда как можно скорее. Ну, пошевеливайтесь!..

– Но ведь нам надо доставить комитетские пайки и наборы – те, которые мы не можем продать, – ответила женщина.

– Я знаю, идиотка. Дай-ка сюда список... – И Генеральша начала громко читать: – Рамона Перес... Отнесите ей этот большой пакет, она преданная и верная сторонница Революции. Вот этот отнесите Хуану Гарридо, он ходит на все демонстрации. Домíно Маркано... ну уж нет!.. Этому сукину сыну даже воды не давайте...

– Но нам приказали отнести продуктовые наборы всем, кто есть в списке...

– А мне наплевать, детка. Абсолютно наплевать. То, что не будет роздано, мы продадим, понятно? А теперь давайте-ка за работу, время уходит. Поворачивайтесь, а я пока займусь вот этим...

– Но, сеньора, – подала голос одна из помощниц Генеральши. – Это не наша еда, это – еда Революции, и решать, что с ней делать, может только команданте, а не мы.

– Здесь я команданте, понятно тебе?

Больше никто возражать не осмелился.

Мы с Сантьяго слышали, как женщины за стеной пыхтят, тащат по полу коробки, шелестят пакетами. Вся эта возня продолжалась примерно час. Потом они ушли, а Генеральша принялась что-то с треском ломать. Я недоумевала, что могло остаться несломанного и неразбитого в моей квартире, ведь первым делом банда Генеральши разнесла ее в щепки, и все же каждый звук разбитой о каменный пол тарелки или чашки болью отдавался в моем сердце. Как видно, зря я надеялась потихоньку пробраться в свой бывший дом, чтобы спасти документы и что-нибудь из маминых вещей. Мне даже пришлось

зажать себе рот ладонью, чтобы не завизжать от бессильной ярости. Несколько раз Сантьяго пытался увести меня в гостиную, но каждый раз я вырывалась и даже попыталась в бешенстве пнуть кровать, однако вовремя удержалась из страха, что меня услышат. Черт бы побрал этих революционеров, ведь они отняли у меня даже право кричать!

Да, в тот день мне хотелось, чтобы вместо каждой руки у меня был острый железный крюк, и я могла убивать, просто размахивая руками, как адская ветряная мельница. Увы, я ничего не могла сделать и только крепче стискивала челюсти от бессилия – стискивала до тех пор, пока не сломала большой коренной зуб. Выплевывая на пол осколки эмали, я мысленно обложила в три этажа страну, которая отторгала меня, изгоняла прочь. А ведь я все еще ее любила, хотя и перестала быть ее частью. Но рядом с любовью во мне росла ненависть – острая и твердая, как пика, которая пронзала мне внутренности.

Тем временем Сантьяго вышел в кухню и вскоре вернулся с бутылкой вина. Сделав из горлышка хороший глоток, он передал бутылку мне и знаком предложил последовать своему примеру. Я не стала упрямиться и поднесла горлышко к губам. Некоторое время мы молча пили, обретая на время новую точку соприкосновения.

– Ну что, ты все еще думаешь, что я – один из них? Неужели ты вправду считаешь, что я способен на что-то подобное?

Я взяла у него бутылку и залпом допила все, что в ней оставалось.

– Я смертельно устала, Сантьяго, и мне очень страшно.

Он кивнул.

– Мне тоже, Аделаида.

И мы действительно боялись.

Боялись гораздо сильнее, чем в состоянии были вынести.

* * *

В очередной раз меня разбудили звуки стрельбы за окном. Звуки были такими же, как вчера: беспорядочный треск выстрелов и изредка – взрывы. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где я нахожусь и как сюда попала. Туфель на мне не было. Кто-то закутал

меня одеялом и уложил между подушками. Дверь спальни все еще была закрыта, и я, вскочив, бросилась к туалетному столику. Выдвинув нижний ящик, я убедилась, что завернутые в простыню деньги и документы на месте. Выпрямляясь, я увидела в зеркале свое лицо. Оно обрюзгло, кожа обвисла, взгляд блуждал, так что я сделалась похожа на жабу. Но заниматься собой мне было некогда, и я, так и оставшись в образе жабы, проследовала в гостиную.

В гостиной было чисто и аккуратно – Сантьяго все убрал.

– Они ушли.

– Я знаю, – ответила я и потерла глаза.

– Тогда идем. Думаю, я сумею пробраться внутрь, не взламывая дверь.

– Ты думаешь?.. – В моем мозгу на мгновение вспыхнула безумная надежда.

– Нет, Аделаида, они вернутся. Разве ты не слышала, что сказал этот мужик? Если ты хочешь забрать оттуда хоть что-нибудь из своих вещей, сейчас самый подходящий момент. Эти чертовы бабы устроили в твоей квартире такой бардак, что никто и не заметит, что мы там побывали. А если кто-то и заметит, то, можешь мне поверить, тебя заподозрят в последнюю очередь.

Его доводы показались мне убедительными. Через минуту мы уже были в коридоре; оглядевшись по сторонам, мы остановились перед моей дверью. В руке Сантьяго держал нож для мяса и проволоочные «плечики» для платья. Кончиком ножа он открыл замок, а проволокой отжал собачку. Дверь отворилась.

В квартире сильно пахло экскрементами, половина мебели куда-то исчезла. Коробки с мамиными вещами и мои тетради были раскиданы по всему полу. Генеральша переломала и переколотила все, что могла: мой компьютер, обеденный стол, унитаз, раковину. Она выкрутила из люстры и светильников все электрические лампы, а ее спутницы нагадили в углах. Дом, в котором я выросла, превратился в вонючую помойку.

Схватив подвернувшийся мне под руку пластиковый мешок, я наполнила его немногочисленными уцелевшими тарелками. Туда же отправились фотография моей мамы, сделанная на выпускном в университете, а также два снимка, где она была запечатлена с сестрами

в пансионе Фалькон. Сантьяго стоял на страже у двери, и я шагнула к платяному шкафу.

Внутри не осталось ни одного платья, ни одной блузки. К счастью, уцелела спрятанная под полкой для обуви небольшая папка, где лежали документы на квартиру, мой паспорт и мамино свидетельство о смерти. В ящиках письменного стола было полным полно свечных огарков, мои рукописи исчезли, а их место заняли несколько статуэток святых, которым отбили головы. Стараясь не втягивать слишком глубоко пропитавшие всё запахи выгребной ямы, я огляделась и заметила в углу штабель картонных коробок. Они были запечатаны и заклеены скотчем, а на боку толстым черным фломастером были написаны имена тех, кому они предназначались: Эл Уилли (участок Негро-Примеро), Бетсайда (участок Баррио Адентро), Юэснэви Агиляр (революционный отряд Ла Пьедрита) – уродливые, выдуманные имена, безвкусные, вульгарные искажения английских слов, с помощью которых их владельцы пытались придать себе большую значимость и авторитет. Кретины!.. Они не получают ни кофе, ни риса из предназначенных для них продовольственных наборов. Та же самая Революция, которая их освободила, обобрала их до нитки, лишив даже имен. Первым, что они потеряли, было самое важное – достоинство. Потом в дело вступила Генеральша, которая украла предназначенные для них продовольственные наборы и, цинично и ловко используя эти замаскированные под благотворительность взятки, продавала драгоценную еду на черном рынке за двойную или тройную цену. Откровенно говоря, я даже испытала некоторое облегчение, когда поняла, что была не единственной, кого ограбила Генеральша. Мне было приятно сознавать, что в стране, где правит отребье, все крадут у всех.

В библиотеке тоже было пусто, и это меня удивило. Что, черт побери, они сделали с книгами? Для чего они им понадобились? На полках почти ничего не осталось. Куда девались «Сыны праха», «Зеленый дом», «Семейный дух», «Спросите пыль» и другие?.. Только заглянув в туалет, я поняла, что страницы, вырванные из моих Еухенио Монтехи и Висенте Гербаси, намертво забили канализационные трубы. Я молча смотрела на них и, беспрестанно трогая языком сломанный зуб, твердила про себя:

– Не время плакать, Аделаида. Не время плакать.

Слезы ничего не стоили и ничего не решали.

Потом я заглянула в мешок, куда собрала осколки прошлой жизни, и еще раз посмотрела по сторонам. Мама и я были последними обитателями маленькой вселенной, которая когда-то помещалась в этих стенах. Теперь мама была мертва, и мой дом тоже прекратил свое существование. Как и моя страна, которую я когда-то любила.

Так и не сказав друг другу ни слова, мы вышли в коридор и вернулись в квартиру Авроры Перальты. Там Сантьяго достал коробку с инструментами, которую он нашел под раковиной. С помощью нескольких шурупов и металлической планки он укрепил засов на двери, а потом поставил еще два замка.

– Они, конечно, никого не остановят, – сказал Сантьяго, – но пусть будут. Не помешают. Или, может быть, ты хочешь вернуться в свою квартиру, если эти женщины не вернутся? – спросил он, загоняя в дверь очередной шуруп.

Я ответила не сразу.

– Я все равно не останусь здесь надолго, – проговорила я наконец. – На две недели максимум.

– Ты сможешь выдерживать все это еще две недели?

– А у меня есть выбор? – огрызнулась я.

Признаться, я не совсем понимала, что на меня нашло. Возможно, это было просто плохое настроение или страх, который я испытывала оттого, что не знала, как мне быть дальше, а возможно, я подозревала, что Сантьяго пытается включить себя в мои планы, каковы бы они ни были. Не исключено, что мое раздражение вызвало и то, и другое, и третье.

Тем временем Сантьяго продолжал ставить на дверь дополнительные замки, ловко орудуя отверткой.

– Они не дадут вышибить дверь с одного удара, – пояснил он, – но их недостаточно, чтобы ты могла чувствовать себя в безопасности. Тебе придется перебраться отсюда куда-нибудь в другое место.

На улице гремели взрывы газовых гранат. Слезоточивый газ снова начал просачиваться в комнату, но я привыкла даже к этому. Меня даже не тошнило, как несколько дней назад. Крики и шум сделались громче, и я осторожно выглянула в щель между занавесками. Я увидела группу молодых людей, которые, прикрываясь деревянными щитами, пытались пробиться сквозь заслон Национальной гвардии. Это была

нелегкая задача, почти непосильная. Нацгвардейцы подтянули подкрепления. Теперь они превосходили манифестантов в численности и стреляли в протестующих газовыми гранатами с расстояния всего в несколько метров.

Сантьяго подошел ко мне.

– Я уйду завтра. Думаю, тебе следовало бы сделать то же самое.

Его решительный тон показался мне странным, почти неприятным.

– Сегодня вечером будет хуже, чем вчера, – сказала я. – Я буду в спальне.

Пока я шла по коридору, мне казалось, что за собой я оставляю только хаос и разрушения. В спальне я открыла пластиковый мешок и разложила свои вещи на кровати. Взяв в руки документ на квартиру, я попыталась его прочесть, но был уже вечер, дневной свет быстро тускнел, а включать электричество я не хотела, по крайней мере, до тех пор, пока у меня не будет уверенности, что банда Генеральши не вернется. Да и потом тоже... Кто мог гарантировать, что больше ничего не случится, что в дом не проникнет другая группа бандитов? Кто мог гарантировать, что мне не перережут горло? Не похитят? Что женщины не вернутся? Одно я знала твердо: ничто уже не будет таким, как прежде. А рассчитывать, что я сумею разминуться с пулей, выпущенной из ружейного ствола, было с моей стороны, по меньшей мере, глупо.

Я хотела жить. И для этого я должна была как можно лучше разыграть ту козырную карту, которую дала мне в руки смерть Авроры Перальта. Я должна была выдать себя за нее.

Почему бы нет? Попытаться-то всегда можно.

И, сидя в этой темной спальне, я приняла решение. Пути назад у меня все равно не было.

* * *

Сев на пол, я закрыла глаза и стала считать выстрелы. Один, два, три, четыре... Иногда я слышала пять или шесть выстрелов подряд – возможно, стреляли из автоматического оружия, но я не была уверена. Звучали хлопки газовых гранат. По временам стрельба усиливалась, по

временам – почти затихала, но я не обольщалась: машина подавления набирала обороты, и дела на улице обстояли еще хуже, чем днем раньше. Крупная банда «коллективос» на мотоциклах обстреливала дома. Разлетались стекла, а рев множества моторов звучал саундтреком к некончающейся войне.

Внезапно я услышала какой-то шум у парадного нашего дома.

Прячась за занавесками, я выглянула из окна. Шесть или семь нацгвардейцев колотили в дверь прикладами своих ружей.

– Открывай! Открывай чертову дверь! Мы знаем, что ты там! Мы все равно тебя достанем!

Обернувшись, я увидела Сантьяго, который подошел к двери спальни. В руках он держал ящик с инструментами, лицо было встревоженным. Движением головы он дал мне знак следовать за собой, и мы вместе переместились к кухонному окну, выходящему на стоянку при доме. Оттуда мы увидели с десяток нацгвардейцев в масках и шлемах, которые быстро шли вдоль стены. Из глубины дома доносились крики соседей. Что-то происходило на первом этаже.

– Там никого нет! – расслышала я громкий мужской голос.

– Никого!.. – поддержали его голоса, доносившиеся из квартир под нами.

– Открывай, сволочь! Открывай немедленно, иначе мы вышибем дверь! – крикнул агент СЕБИН, которого я опознала по камуфлированным брюкам и черному жилету. – Мы знаем, что ты прячешь террористов и преступников!

Внизу раздался треск сломанной двери, а минуту спустя нацгвардейцы за волосы выволокли на улицу какую-то девушку, которая лягалась и брыкалась.

– Меня зовут Мария Фернанда Перес! – кричала она. – Мария Фернанда Перес! Меня арестовали, хотя я ничего не сделала. Я ни в чем не виновата, слышите?! Я только участвовала в демонстрации! Мое имя Мария Фернанда Перес! Меня арестовали. Слышите, меня арестовали!..

– Заткнись, шлюха! Террористка! Мерзавка! – Один из солдат ударил ее ногой в живот.

Из дверей тем временем вывели еще четырех молодых парней. Это тоже были участники демонстрации, которых соседи с первого этажа прятали от «коллективос», обстреливавших протестующих

дымовыми гранатами. Все они были в наручниках. Каждый раз, когда они пытались сопротивляться, их опрокидывали на землю и били ногами.

– Не трогайте их! – кричали соседи с верхних этажей. – Отпустите! Это была мирная демонстрация. Они еще совсем молодые, отпустите их!

– Убийцы! Сукины дети!

– Снимайте их! Снимайте!

Последним из парадного показался Хулиан, наш сосед с первого этажа. Он тоже был в наручниках и шел, едва волоча босые ноги. Один из солдат заставлял его двигаться вперед, ударяя плашмя по плечам и спине длинным мачете. На Хулиане были только шорты и рубашка с короткими рукавами.

– Ты тоже террорист и пособник, приятель! Теперь ты попадешь в тюрьму и не выйдешь оттуда, пока не состаришься, понятно?..

Всех арестованных затолкали в грузовик с зарешеченными окнами и эмблемами Национальной гвардии на дверцах.

Мы с Сантьяго ничего не кричали. Мы даже ничего не говорили друг другу. Мы были немые, как каменные горгульи на крыше католического собора.

– Завтра я исчезну, Аделаида. Завтра, – шепотом проговорил Сантьяго, когда грузовик отъехал. Я смотрела, как он спускается под уклон и его задние огни исчезают в облаках дыма и пыли. Мне хотелось сказать Сантьяго, что он может не торопиться, что он может остаться еще на несколько дней, если нужно, но я промолчала. Когда же я обернулась, чтобы взглянуть на него, то увидела, что его уже нет рядом.

Искать Сантьяго я не стала. Вместо этого я пошла в хозяйскую спальню, спеша поскорее спрятаться от всего, что я видела сегодня, вчера и позавчера. Моя голова наливалась пульсирующей болью, тело ныло от напряжения, в котором я пребывала все последние часы, и мне казалось, что это меня только что избивали ногами у нашего парадного.

Дверь в спальню я закрывать не стала. Если бы Сантьяго хотел меня ограбить, он мог сделать это уже давно. Разложенные на кровати паспорт и другие документы показались мне чем-то ненужным и бесполезным: настоящая жизнь была на улице, она навязывала себя

жестоко и неостановимо, и паспорт ничем не мог мне помочь. Чуть не каждый день мы молча смотрели из-за занавесок, как других арестовывали и увозили в тюрьму или навстречу смерти. Мы все еще были живы. Наш черед еще не пришел. Оцепеневшие от ужаса, окаменевшие, точно статуи, мы со страхом ждали следующего дня или ночи.

Я села на пол, обхватив руками колени. Меня не оставляло ощущение, будто за мной наблюдают. Быть может, я сходила с ума, но... Глаза команданте, которые рисовали на рубашках, на заборах, на стенах городских домов, преследовали меня неотступно. Его взгляд проникал глубоко мне в душу, в мозг. Не выдержав, я прижалась к коленям лбом и стала молить Господа, чтобы Он сделал меня невидимой, чтобы Он послал мне одеяло, под которым я могла бы спрятаться, как в детстве, и чтобы никто не мог догадаться, о чем я думаю и что чувствую.

Заметив стоящего в дверях Сантьяго, я подскочила от страха.

– Все в порядке, Аделаида, не бойся. Это я.

Я видела, что это он, *знала*, что это он, но ничего не могла с собой поделать. Мое тело мне не подчинялось. На коже выступил холодный липкий пот, руки и колени заходили ходуном. Сердце билось, как у загнанной лошади, грудь болезненно сжималась, дыхание сделалось неглубоким и частым. Стараясь глотнуть побольше воздуха, я широко раскрывала рот, но была не в силах вдохнуть, и это еще больше усилило владевшую мною панику.

– Ни звука! Нам нельзя шуметь! – повторяла я снова и снова.

Сантьяго взял меня за плечи, поднял с пола и подтолкнул к кухне – единственному месту в квартире, где запах слезоточивого газа был не таким сильным.

– Вот, возьми. Подыши в него, – сказал он, протягивая мне старый бумажный пакет, от которого еле уловимо пахло хлебом. – Прижми его к носу и губам. Дыши как можно медленнее. Дыши!..

Я сделала, как он велел, и мне удалось сделать несколько достаточно глубоких вдохов. Паника немного отступила, но ее место заняли стыд и унижение. Грудь перестало стискивать невидимыми тисками, боль в сердце ослабела, и теперь я ощущала внутри только холодную пустоту. Сантьяго смотрел на меня, на его лице не дрогнул ни один мускул. В его темных глазах отражались мерцающие огни

соседних домов, и мне показалось, что я вижу перед собой текущую реку.

– Тише! Тише!.. – Я снова прижала палец к губам, и Сантьяго в точности повторил мой жест, как если бы он был моим отражением в зеркале. Потом мы отправились в гостиную: я опиралась на его плечо, а Сантьяго направлял меня, словно незрячую. Там я села на диван и, выпрямившись, крепко прижалась спиной к подушке. Через секунду мои легкие окончательно расправились, кислород снова начал поступать в кровь в полном объеме, и это помогло мне вернуть себе присутствие духа.

Сантьяго сидел рядом и гладил меня по голове свободной рукой. Его пальцы медленно двигались по спирали, проникая между прядями волос и прижимаясь к коже на макушке и на затылке. Потом его рука коснулась моей шеи и плеч, и я наконец сумела опустить палец, который по-прежнему прижимала к губам. Мы смотрели друг на друга. Мы касались лиц друг друга, словно стараясь удостовериться, что мы еще существуем. Мы гладили друг друга, пытаясь доказать себе, что в стране, сотрясающейся в предсмертной агонии, нас еще никто не убил.

Когда я проснулась, уже наступил день. Сантьяго в квартире не было. Он ушел, как и обещал.

Я больше никогда его не видела.

* * *

Адвокат-«решала», которого я нашла через свои старые университетские связи, оказался человеком практичным до мозга костей. Его интересовало только дело. Он не спросил, зачем мне нужны фальшивые документы, но запросил целых шестьсот евро за удостоверение личности и паспорт на имя Авроры Перальты. Будь мои обстоятельства иными, цена тоже была бы ниже, хотя вряд ли намного.

– Вы платите за скорость, – сказал адвокат, которого я мысленно уже окрестила Пронырой.

Я спросила, не хочет ли он кофе. Проныра покачал головой. Все его внимание было поглощено изучением материалов, которые я принесла: моих фотографий и – на отдельном листке – личной подписи

Авроры, которую я скопировала с ее паспорта с помощью папиросной бумаги.

– Вы совсем не хотите ничего выпить?

Он снова покачал головой. Впрочем, на стойке кафе, где мы встречались, ничего такого и не было. Кафе без кофе, без молока, без пирожных и печенья – такой стала наша жизнь. Мухи, грязь, пустые шкафы-охладители со стеклянными дверцами. Лишь в одном из них лежало несколько пластиковых бутылок с газированной водой. На охладителе красовалась реклама мороженого «Коппелия», которое Сыны Революции одно время ввозили с Кубы, однако этот «коммунистический» продукт вскоре исчез из продажи, как и все остальное.

Для отвода глаз я все же заказала бутылку минеральной воды. Тем временем адвокат достал из кармана небольшой блокнот, написал что-то на первой странице, потом закрыл и положил на стол передо мной.

– Ступайте в туалет, – сказал он негромко. – Там вы должны положить в блокнот двести евро. Отдадите его мне на улице, когда будем прощаться.

Я кивнула, взяла блокнот и поднялась на второй этаж, где находились туалеты. Выбрав ближайшую к двери кабинку, я присела на унитаз, достала четыре банкноты по пятьдесят евро и сложила каждую пополам. Поместив их между разлинованными в мелкую клетку страницами блокнота, я спрятала его в сумочку, потом помочилась и, сполоснув руки под краном, уверенным шагом вышла из туалета. Проныра уже ждал меня на улице. Я отдала ему блокнот, и мы разошлись в разные стороны, смешавшись с прохожими, которых в этот час на площади Революции почти всегда было очень много.

Дойдя примерно до середины площади, я остановилась на том самом месте, куда мама приводила меня каждое воскресенье. Я смотрела на увенчанный колокольной обшарпанный собор, лишившийся портика. Когда-то его дешевая гипсовая лепнина довольно удачно скрывала убожество постройки, но теперь иллюзия исчезла. Исчезло или было переименовано немало других знакомых мне деталей городского ландшафта, и только несколько столетних деревьев, наперекор всему зеленевших на краю площади, казались куда более жизнеспособными и жизнерадостными, чем умирающая в муках страна. Небольшой отряд солдат, одетых в форму народной

армии времен битвы при Карабобо^[37], отдавал почести статуе Симона Боли́вара. Их мундиры были пошиты из грубой, дешевой ткани и напоминали скорее карнавальные костюмы, нежели военную форму.

Лавируя между священниками в католических сутанах и миссионерами-протестантами в гражданских костюмах, я приблизилась к «уголку ораторов», где собирались мужчины и женщины в красных рубашках. Включив мегафоны, они на все лады расхваливали достижения «Вечного Команданте» и размахивали государственными флагами нового образца с восемью звездами. Эта восьмая звезда появилась стараниями режима^[38] и символизировала новую провинцию, якобы возвращенную в состав страны, но это был чисто пропагандистский ход. На самом деле никакой провинции, сначала потерянной, а потом отвоеванной, не существовало в природе. За спинами толпы неофитов красовались два огромных портрета Боли́вара-Освободителя, как его называли из-за его импульсивного вождизма и стремления к единоличной власти в стиле каудильо. На одном из портретов Боли́вар был запечатлен в разгар битвы, на другом – на смертном одре. Плакаты были совсем новые, только что из типографии. Было принято считать, что они делают образ Боли́вара более выпуклым, поэтому Революция развешивала их во всех общественных учреждениях и публичных местах, заменяя ими портреты «факела независимости», к которым мы привыкли с детства.

Новые плакаты с изображением Боли́вара заметно отличались от прежних, на которых был запечатлен исторически достоверный облик национального героя. Теперь Боли́вар выглядел более смуглым, приобретая характерные этнические черты, которые еще несколько лет назад никто бы и не подумал приписывать белому венесуэльскому аристократу начала девятнадцатого века. Эксгумация и генетическая экспертиза останков национального героя, которого Революция решила вынести из Национального пантеона и переместить в индивидуальный саркофаг, прошли с большой помпой. Пышная церемония задумывалась как важная политическая акция, но, на мой взгляд, от нее здорово отдавало некрофилией. Именно после нее в облике Отца Нации начали появляться черты, свойственные метисам. Сейчас Боли́вар больше напоминал Негро Примеро^[39], чем потомка баскских аристократов, которые с оружием в руках сражались против испанского короля Фердинанда VI. Косметическая операция, которой

Сыны Революции подвергли историю, несла на себе печать обмана, и думать об этом мне было больно и стыдно, но я постаралась справиться со своим негодованием. Шагая по направлению к проспекту Урдането, я ощущала растущую уверенность в том, что я наконец-то готова оставить все это позади. Страх и отвращение навсегда отрезали меня от моих корней и моей страны. Как и написавший «Лесоповал» и «Сбор доказательств» Томас Бернхард^[40], я тоже научилась презирать место, где я родилась. Это было не трудно, ведь я жила не в Вене, а в зловонной клоаке, где меня окружали только гниль и гибель.

Ах ты ж мать твою!.. Вот такие дела...

* * *

Процесс моего перевоплощения в Аврору Перальту шел полным ходом. Во всяком случае, первую стадию превращения я преодолела успешно. Переодевшись в платье Авроры, которое было велико мне на три размера, я съездила в испанское консульство. Моя собственная одежда осталась в шкафу моей прежней квартиры, и мне нечего было надеть, кроме Аврориных платьев сорок второго размера и брюк, в которых я просто тонула. Мне потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к образу бледной, унылой женщины, которая до срока превратилась в старую деву. Часами я простаивала перед зеркалом, с отвращением разглядывая новую себя и занимаясь самовнушением, которое, правда, не приносило никакой особенной пользы. Впрочем, и вреда от него не было, что меня вполне устраивало.

Когда в консульстве меня, одетую в просторное черное платье Авроры, посадили перед небольшим цифровым фотоаппаратом, чтобы сделать снимок для биометрического паспорта, я на мгновение растерялась, не зная, улыбаться ли мне или, напротив, постараться придать своему лицу хмуро-напряженное выражение, какое обычно бывает у человека, страдающего хроническим запором (почему-то на паспортах и удостоверениях личности чаще всего встречаются именно такие фото). В конце концов я состроила обманчиво-грустную гримасу, полагая, что это выражение лучше всего соответствует тому, что было напечатано в документе, который я крепко держала в руках.

Уже выходя из консульства, я не удержалась и открыла плотную книжечку с надписью золотыми буквами «Европейский союз – Испания». Фотография была моя, но возраст и страна были другими, и я почувствовала, что паспорт каким-то образом соединил меня с чужой жизнью, полной радостей и несчастий, которые я не переживала и которые по этой причине не могла себе даже вообразить. О жизни Авроры Перальты я действительно знала мало, и тем не менее мне нужно было как можно скорее примерить ее на себя, погрузиться в нее с головой. Испанского паспорта, который мог стать билетом на выезд из страны, дожидалось огромное количество детей и внуков испанских иммигрантов. То, что я получила свой так скоро, было неслыханным везением. Мне действительно повезло, как иногда – хотя и очень редко – везет людям, которые дошли до последней степени отчаяния. Я знала, что я вовсе не Аврора Перальта, что я никогда ею не была и никогда ею не стану – во всяком случае, не полностью, не до конца. Но если у тебя есть только два пути: добровольно склонить голову на плаху или взять меч и сражаться, ты всегда можешь выбрать последнее. Этот паспорт и был моим мечом, моей Тисоной^[41], пусть она и досталась мне обманным путем.

«Сейчас не время для сожалений, – твердо сказала я себе. – Прими вещи такими, какие они есть, и делай то, что должна».

Моя решимость выжить во что бы то ни стало была крепка как сталь.

* * *

После ухода Сантьяго мое положение с каждым днем становилось все опаснее. Генеральша и ее банда вернулись с подкреплением – с ними пришли еще с десятков втиснутых в яркие легинсы женщин, чья нездоровая полнота казалась абсурдной в стране, население которого регулярно недоедало. Примерно половина из них заняли пустующие магазинчики на первом этаже нашего дома – по-видимому, это была часть стратегии, направленной на захват новых помещений. В одном из магазинов разместился штаб «Фронта женщин-освободительниц» – так гласила надпись на куске картона, который они прилепили скотчем к стене. В «штабе» постоянно торчали три или четыре женщины,

остальные поступили в распоряжение Генеральши. Целыми днями они толклись в моей бывшей квартире, превращенной в продовольственный склад.

Судя по всему, Генеральше удалось одержать верх над громилами, которые пытались пустить ко дну ее прибыльный бизнес. Как бы там ни было, она по-прежнему снабжала черный рынок продуктами, которые выдавались только по карточкам. И днем, и ночью в мою бывшую квартиру приходили какие-то люди, шелестели пластиковыми пакетами с продуктовыми наборами и таскали огромные ящики с туалетной бумагой. У Генеральши и ее банды было все – любые товары, которые давно отсутствовали в продаже и которые нельзя было получить даже по карточкам и талонам. Я не сомневалась, что они продавали их по куда более высоким ценам, чем те, что были официально установлены для так называемых «народных рынков», организованных Революцией в попытке хоть как-то замаскировать отсутствие в продаже товаров первой необходимости. Сами они, впрочем, вряд ли торговали краденым с лотков, скорее сбывали свой товар оптом мелким рыночным «жучкам».

Теперь я поняла, чем так приглянулся Генеральше наш дом. Он находился неподалеку от одного из «народных рынков» и, таким образом, мог конкурировать с окрестными частными магазинами, в которых, впрочем, уже давно не было почти никаких товаров. Кроме того, Сыны Революции считали владельцев этих магазинов «спекулянтами», на чем Генеральша довольно умело играла: для городского «среднего класса», почти не получавшего государственных подачек, она была чем-то вроде ангела-спасителя, который помогал людям не умереть от голода. То, что она как раз и занимается той самой «спекуляцией», которую вожди Революции считали пережитком капитализма, саму Генеральшу нисколько не волновало. Для нее главным было набить собственный карман.

К счастью, Генеральша и ее банда ночевали в моей прежней квартире крайне редко, используя ее только для хранения и сортировки краденного товара. Благодаря тому, что по ночам в квартире никого не было, я могла более или менее спокойно заниматься своими делами. После десяти вечера, когда шум за стенкой стихал, я принимала душ и готовила себе на кухне что-нибудь поесть. Ночью я не боялась

передвинуть с место на место стул и даже ходила по квартире не крадучись, однако включать свет я по-прежнему опасалась.

Соседи еще пытались бороться. Глория из квартиры на чердаке была первой, кто попытался дать им организованный отпор. Она обходила квартиру за квартирой, пытаясь организовать соседей на борьбу с незаконным вторжением. Дважды она звонила в мою – то есть в Аврорину – дверь, но я не открыла. Притаившись в темноте, я старалась не шевелиться и не производить ни малейшего шума, способного выдать мое присутствие. Однажды, прильнув ухом к входной двери, я слышала, как Глория расспрашивала соседей об Авроре и обо мне, но никто так и не смог сообщить ей ничего определенного. Возможно, соседи ничего о нас не знали, а может, просто не хотели знать.

Запертая в четырех стенах, я посвятила все свое время изучению биографии женщины, которой мне предстояло стать. Первым делом я проштудировала письма Хулии и пересмотрела фотографии в шкапулках. Затем я зарядила мобильный телефон Авроры и обнаружила на нем три голосовых сообщения. Все они были от Марии Хосе, которая к тому же прислала Авроре несколько электронных писем. Я поспешила на них ответить, объяснив причины своего молчания отключением электроэнергии, беспорядками, неустойчивой работой интернета.

Отвечать я старалась в стиле Авроры Перальты, используя слова и обороты, которые, как мне казалось, она могла бы употребить. Ответ пришел очень быстро.

«Когда ты приедешь?».

«Как только будет готов мой паспорт».

На мой взгляд, это было достаточным ответом, к тому же он был вполне в стиле Авроры, писавшей скупым, канцелярским языком.

Компьютер у нее был старым, но функция автозаполнения работала исправно, так что мне не пришлось ломать голову, подбирая пароли. Вскоре в моем распоряжении оказалась вся ее личная информация, и я сосредоточилась на банковских счетах и электронной почте. В первую очередь я удостоверилась, что код доступа к счету, на котором лежала сумма в евро, все еще действителен. Он состоял из четырех цифр, которые банк прислал Авроре в отдельном письме. Я обнаружила его там же, где хранилась вся остальная информация –

пароли к почтовому ящику, адреса электронной почты и прочее. Код работал. Зарядив телефон Авроры, я обнаружила в его памяти эсэмэску из банка, в которой был код безопасности. Используя оба кода, я сумела перевести несколько небольших сумм на кредитную карточку Авроры, которая оказалась привязана к счету, совладельцем которого до сих пор числилась ее мать Хулия. Меня это более чем устраивало – пытаться восстановить пароль к банковскому счету я бы, наверное, не рискнула: обмануть службу безопасности банка с помощью поддельного паспорта было намного труднее, чем испанское консульство.

Окрыленная успехом, я приступила к выполнению второй, более сложной задачи. Мне необходимо было реконструировать отношения, которые связывали Аврору с ее испанскими родственниками. В этом мне должны были помочь электронные письма от кузины Авроры – Марии Хосе Родригес Перальты, которые я обнаружила в почтовом ящике.

Общая картина сложилась у меня, однако, далеко не сразу. Когда люди хорошо знают друг друга, им бывает достаточно легкого намека, но человеку со стороны бывает очень трудно разобраться, что к чему. Мария Хосе была дочерью Пакиты – женщины, которую я видела на фотографиях, сделанных в семидесятых. Вернувшись к этим снимкам, я стала тщательно изучать их в хронологическом порядке, но мне это почти ничего не дало. Сейчас Паките Перальте был уже восемьдесят один год, и – если верить тому, что писала Мария, – именно она настаивала на том, чтобы Аврора уехала из Венесуэлы как можно скорее. Это, кстати, было вовсе не исключено – в конце концов, таким образом она могла попытаться хоть как-то отблагодарить свойственницу, с которой ее связывали такие долгие и близкие отношения.

Потом я погрузилась в письма, которые Хулия Перальта писала Паките. Много лет назад именно Пакита убедила ее отправиться за океан после смерти Фабиана. В первые восемь лет они писали друг другу минимум раз в неделю. Потом письма стали реже, хотя Хулия не забывала каждый месяц отправлять своим родственникам небольшой подарок и пять тысяч боливаров (или шестьдесят восемь тысяч песет). Пакита в свою очередь интересовалась делами «маленькой Авроры» и приглашала обеих приехать в Испанию на летние каникулы. «Я знаю, что ты много работаешь, но ты могла бы отправить к нам Аврору. Мы

по вам очень скучаем, к тому же было бы просто замечательно, если бы Мария Хосе и Аврора подружились – ведь они почти одного возраста».

Но, насколько я могла судить, Хулия и Аврора съездили в Испанию только один раз. Это произошло в восемьдесят третьем году, когда воспоминания о покинутой родине еще были свежи в памяти обеих. С каждым годом Хулия Перальта все больше привыкала к новой стране. Сначала она работала поваром, потом открыла собственное, хотя и очень небольшое кафе, которое называлось «Каса Перальта». Насколько я поняла, это было весьма необычное место – что-то вроде иммигрантского бара. В дневное время оно превращалось в столовую, а в какие-то периоды действовало и как обычное кафе. К каждому бокалу вина – и даже к каждой порции содовой – в «Каса Перальта» подавали небольшой бутербродик на слегка поджаренном хлебе. Блюда были вкусными и разнообразными: осьминоги в остром соусе, яичница со шкварками, отварной рис и хрустящие паэльи, которые утоляли голод и рассеивали печаль. Несколько позже Хулия добавила в меню венесуэльские блюда: пирожки-эмпанадас с мясной или сырной начинкой и лепешки-арепас из кукурузной муки, которые она начала продавать, когда наняла помощника по кухне. Эти добавки привлекали в ее кафе многочисленных служащих ближайших государственных учреждений и министерств, которые по рабочим дням ходили в «Каса Перальта» завтракать и обедать.

Вскоре Хулия – «испанка», как ее прозвали, – стала доньей Хулией. Ее бизнес процветал. Слухи о ее превосходной кухне распространялись с головокружительной быстротой, и она стала получать крупные заказы. Она обслуживала свадьбы, банкеты, праздники по поводу первого причастия и готовила рис а ла маринера и паэльи, которые социал-демократы раздавали во время своей избирательной кампании. Можно было даже сказать, что Хулия Перальта вскормила два поколения сторонников венесуэльской демократии, которые выиграли двое выборов подряд и оставались у власти в общей сложности около двадцати лет. Именно в этот период «испанка» окончательно обрела свое место в жизни города и даже стала знаменитой. В обеденном зале «Каса Перальта» висела вставленная в рамку вырезка из газеты, на которой Хулия была сфотографирована на кухне. «Испанка, которая готовит для ДД» –

гласила подпись. ДД расшифровывалось как «Демократическое действие». Эта левоцентристская партия первой узаконила всеобщее голосование и бесплатное начальное образование, а также провела национализацию нефтедобычи. И пока правительство социал-демократов не рухнуло в результате двух военных переворотов, проложивших путь к власти Сынам Революции и команданте, Хулия Перальта оставалась женщиной, которая готовила вкусные и сытные блюда для всех демократических собраний и праздников.

Моя мама любила ходить в кафе Хулии по воскресеньям. Она считала «Каса Перальта» респектабельным заведением – местом, где вкусно кормят и соблюдаются приличия. И почти всегда мы приглашали к нашему столу дон Антонио, который ел один. Дон Антонио был родом с Канарских островов, из Лас-Пальмаса. Младший из семи братьев, в Каракасе он стал крупнейшим продавцом книг. Мне нравилось слушать, как он разговаривает с мамой. В Венесуэлу дон Антонио приехал еще в конце пятидесятых. Как он рассказывал, поначалу он разъезжал на велосипеде по всему бульвару Сабана Гранде, продавая бейсбольные карточки и научно-популярные брошюры владельцам журнальных киосков, а накопив денег, купил пикап, загрузил книжными новинками и отправился в путь, объехав все города и поселки Центральной Кордильеры. Во время этой поездки дон Антонио заработал достаточно, чтобы открыть собственный книжный магазин, который он назвал «Канайма» в честь книги Ромуло Гальегоса^[42].

Подростая Аврора Перальта помогала матери в кафе. Она ходила между столиками, принимала заказы и расставляла корзинки с хлебом, а также разносила первые блюда, пока мать на кухне готовила запеканку с моллюсками. Часто ее можно было видеть и за стойкой, где она протирала бокалы или с недовольным видом вынимала из формочек готовые кексы и тарталетки. Несмотря на то что выросла Аврора фактически уже в Венесуэле, она так и не усвоила общепринятый неформальный стиль общения и не заразилась свойственными большинству местных жителей жизнерадостностью и весельем. Лишенная привлекательности и не наделенная чувством юмора, она держалась отчужденно и замкнуто, как человек, который с каждым днем все больше погружается в уныние. Жизнь ее была

пустой и бессодержательной и состояла из бесконечной череды незавершенных эпизодов и рутины.

Я отлично понимала, что перевоплотиться в Аврору Перальту мне будет нелегко. Стоявшая передо мной задача была почти неразрешимой. Во-первых, я постоянно должна была помнить, что мне теперь не тридцать восемь, а сорок семь. Во-вторых, мне необходимо было выглядеть как профессиональная повариха, которая не только отстояла у плиты бессчетное количество часов, но и получила квалификацию специалиста в области туризма и делопроизводства (соответствующие сертификаты об окончании краткосрочных курсов я обнаружила в бумагах Авроры), а вовсе не как дипломированный литературовед и лингвист, специализирующийся на редактуре. Для меня это означало опуститься на более низкую ступень социальной лестницы, но я готова была пойти и на это.

Чаще всего меня мучил вопрос, какое у меня должно быть выражение лица, когда я буду знакомиться с испанскими родственницами Авроры. Мария Хосе снова и снова требовала, чтобы я сообщила ей дату своего отъезда. Кроме того, она заявила, что в первое время, пока я не найду работу и собственное жилье, я непременно должна жить в ее доме в Мадриде. Я пыталась возражать, говорила, что не хочу никого стеснять, изобретала еще какие-то предлоги, но Мария Хосе стояла на своем и не желала слышать никаких возражений. Пакита, ее мать, была в восторге от того, что я скоро приеду. «Я не видела тебя целую вечность!» — писала двоюродная тетка Авроры. Чтобы хоть немного успокоить расстроенные нервы, мне пришлось напомнить себе, что с тех пор, как Аврора Перальта в последний раз ездила в Испанию, прошли десятилетия, что там уже никто не помнит, как она выглядит, и поэтому выдавать себя за нее мне будет сравнительно просто. Даже если я вдруг не смогу припомнить чье-то имя или название места, это тоже будет вполне понятно и оправданно. Куда больше меня тревожила мысль о том, что испанские родственники Авроры могли видеть ее фотографию во взрослом возрасте. И все же больше всего я боялась забыть или запутаться в подробностях биографии Авроры. Детали, которые я пыталась запомнить, забывались, люди и события путались, и в голове у меня была полная каша.

Кроме попытки выдать себя за совершенно постороннего человека, передо мной стояла и другая проблема. Мне нужно было как-то объяснить свое собственное исчезновение, когда я окончательно стану Авророй. На мою электронную почту по-прежнему сыпались письма из издательства, на которое я работала. Сначала руководство просто вежливо спрашивалось, как я себя чувствую и достаточно ли я оправилась после смерти мамы, чтобы начать работу над новой рукописью. Правда, в современной Венесуэле издание и продажа книг были делом, мягко говоря, убыточным, поэтому меня не особенно торопили, но затишье, увы, было непродолжительным. В один из дней мне прислала электронное письмо сама шеф-редактор регионального отдела издательства; ее встревожило мое молчание, и она спрашивала, не означает ли оно отказ от сотрудничества.

Немного подумав, я решила, что мое исчезновение должно быть внезапным и не сопровождаться сколько-нибудь подробными объяснениями. Редакторше я написала короткий, сухой ответ, в котором сообщила о своем решении на время уехать из страны. И похоже, поступила совершенно правильно. Ситуация в Венесуэле и мои личные обстоятельства служили достаточно веской причиной для отъезда. «Мне нужно прийти в себя после смерти мамы и после всех других смертей», – написала я.

А еще какое-то время спустя, в очередном грязноватом кафе без кофе, я снова встретила с Пронырой, который привез мне фальшивые венесуэльские документы, которые были нужны, чтобы покинуть страну под именем Авроры Перальты. В тот же день я купила через интернет билет на самолет до Мадрида. Я хотела улететь как можно скорее, но из-за мощной волны протестов, сотрясавших страну, количество международных рейсов было резко сокращено. Расплатилась я кредиткой Авроры. Стоимость билета была относительно высокой, но меня сейчас интересовали вовсе не деньги. К счастью, платеж прошел без задержки, и я с облегчением выдохнула. С деньгами очень многие вещи можно было сделать быстро и без затруднений. Да, с деньгами ты превращался в желанную добычу для тех, у кого их не было, но положение человека, не имеющего ни гроша, все же было хуже. Намного хуже. А именно так, в состоянии перманентного банкротства, жила сейчас большая часть венесуэльцев.

С надгробья над могилой моей матери исчезла не только стеклянная ваза, но и почти все буквы из надписи. Сло́ва «Покойся» на камне больше не было, осталось только «с миром» – бессмысленный обрывок фразы, наводящий на мысли о долге, который никогда не будет выплачен до конца. Из названия городка, где мама родилась и где я тоже провела часть детства, пропали все согласные буквы. Кто-то выковыривал их одну за другой, пока не остались только гласные, по которым понять что-либо было невозможно. Фамилия тоже исчезла, за исключением заглавной «Ф», немного похожей на букву на вывеске пансиона моих теток. Проигравший теряет все, даже собственное имя. Мы его потеряли – женщины из рода Фалькон, королевы умирающего в агонии мира.

Вазу я взяла с соседней могилы, чтобы принесенные мною белые гвоздики не завяли от жара моего собственного стыда. Со дня смерти мамы прошло больше месяца, и хотя я уже почти перестала быть Аделаидой Фалькон, мне хотелось остаться ею еще немного – хотя бы то недолгое время, пока я буду стоять возле могилы мамы. Мне хотелось сказать ей, как сильно я ее любила. Я ее любила, а теперь я тоже была мертва. Мама была под землей, я – на поверхности, но это ничего не меняло, и сегодня я пришла на кладбище, чтобы говорить с ветром, вновь соединяя наши миры в один.

Не знаю, как долго я стояла возле могилы. Знаю только, что это был самый длинный разговор из всех, какие мы когда-либо вели. И хотя слова не произносились вслух, а объединивший нас на время клочок земли был совсем крошечным, мы были близки, как раньше. И в этом мире ближе друг к другу мы быть уже не могли. Смерть приходит быстро, когда мир совершает новый оборот. А наш мир, мама, не вращался до тех пор, пока мы не обрели друг друга, как в стихотворении Еухенио Монтехо. Он не вращался, но он накренился и рухнул на остальных. Он сокрушил, расплющил и живых, и мертвых, накрепко связав их в одно. Нашего дома больше нет, мама. От него ничего не осталось – я не сумела его уберечь. Ты должна узнать и другое, мама... Я больше не ношу твою фамилию, и я скоро уеду. Я не жду, что ты меня поймешь, но я верю, что ты меня услышишь. Ты ведь слышишь меня, мама, правда?... Ты здесь?... Я пришла рассказать

тебе о том, что представлялось мне очевидным, но на деле оказалось совершенно иным. Все вещи в мире часто оказываются сложнее, чем думаешь. Я пришла сказать, что никогда не жалела о том, что для нас обоих мой отец был все равно что мертв. Мне было достаточно того, что у нас с тобой – одинаковое имя, и я носила его с гордостью. Оно было единственной крышей над моей головой, в которой я действительно нуждалась. Ты – Аделаида Фалькон, и я – Аделаида Фалькон. Назвав меня своим именем, ты укрыла меня от всего мира, защитила меня от его пошлости, грубости, глупости и невежества.

С самого раннего детства я втайне гордилась, что ты не осталась жить в своем родном городе – красивом, овеваемом ласковым океанским ветром, но в конце дня все равно становившемся маленьким, пыльным и душным. Я гордилась тем, что у тебя были другие интересы, помимо игры в бинго, рома и коричневого гуарапо^[43], которые рано или поздно все равно проникают в души всех, кто жил или живет в Окумаре-де-ла-Коста. Я радовалась, что ты была так не похожа на своих сестер. Что ты была сдержанной и немногословной. Что ты презирала предрассудки и грубость. Что ты много читала и учила читать других. Ты была для меня целой вселенной, мама, которую я принимала как данность. Настоящей страной с музеями, театрами, балетом и книгами, с людьми, которые следили за своей внешностью и манерами. Тебе не нравились те, кто слишком много ел или пил. Не нравились те, кто слишком громко кричал или плакал. Ты не выносила чрезмерности, мама. К счастью, ты не увидела, как сильно все изменилось. Теперь всего стало слишком много – страха, грязи, смерти, голода.

Пока ты угасала, страна неотвратимо сходила с ума. И чтобы выжить, нам приходилось делать вещи, о которых раньше невозможно было даже помыслить – охотиться на ближних или молчать, рвать чужие горла или смотреть в сторону. Мне приятно знать, что ты не дожила до этого. Теперь у меня другое имя, я изменила его, но вовсе не потому, что захотела бежать из страны, которая была у нас с тобой и которая называлась «Аделаида Фалькон». Я сделала это из страха, мама. Как ты знаешь, я никогда не была такой храброй, как ты. Никогда. И именно поэтому в этой новой войне твоя дочь оказалась одновременно на обеих сторонах: я охочусь на ближних, и я держу рот на замке. Я из тех, кто защищает свое и крадет чужое. Я принадлежу

сразу к обоим лагерям – к худшей части и одного, и другого, потому что с тех, кто, подобно мне, живет на острове трусости, меньше спрос. Да, мама, я боюсь. Во мне нет ни капли того спокойного мужества, какое было в тебе. Ты хотела, чтобы я была храброй, но я не оправдала твоих надежд. Помнишь, как сказано в стихотворении Борхеса?..
«Родители мои меня зачали, // Для тверди, влаги, ветра и огня, // Ласкали и лелеяли меня, // А я их предал...»

Я знала женщин, которые мели патио, чтобы хоть чем-то занять свои одинокие дни. Ты тоже делала это. Мы – вымершая раса, пресекшийся род... Мы все, включая и моих теток Амелию и Клару, и тех, кто жил до них, и даже тех, кто посещал нас в наших сновидениях. Вырезанные из тонкой бумаги женщины, которые раскачиваются на проволочных вешалках в шкафу моих ночных кошмаров. Суровые старухи из церкви в Окумаре, с ног до головы одевавшиеся в черное в дни чьих-нибудь девяти и на Страстной. Женщины, которые курили свои сигареты фильтром наружу^[44] и теряли зубы, потому что слишком много и часто рожали. Женщины, которые приходили к умирающим домой и пытались прогнать смерть просто сказав ей: «Прочь! Прочь!» Они населяли мир, который теперь – в моих воспоминаниях – разбух и стал огромным. Помнишь, тетя Амелия всегда вставала очень рано и сразу начинала мести двор? Помнишь?.. Я видела, как она старательно терла и скребла цементный пятачок патио, вокруг которого росли чахлые кусты и скрюченные деревья: тамаринд, маракуйя, манго, сапота, кешью, генипа, лагенария, каменная слива и гуанабана. То, что падало с ветвей, было и сладким и кислым одновременно, спелые плоды оставляли во рту привкус гнили и в то же время содержали столько сахара, что сердце начинало отчаянно биться, а язык переставал ощущать сладость. Тетя Амелия жила своим садом, она была владычицей места, где росли молодые саженцы и выкорчевывались старые пни, где жизнь и смерть шли рука об руку. Я помню ее, мама, – бесстрашную воительницу в ночной рубашке, которая выходила в сад с граблями и мотыгой, чтобы снова и снова убивать свои воспоминания наповал.

Да, мама, наша жизнь была полна женщин, которые чистили и скребли, стараясь избыть свое бесконечное одиночество. Она была полна одетых в черное женщин, которые прессовали табак^[45] и лопатой убирали с патио разбившиеся о бетон спелые фрукты. В

отличие от них я не умею даже вытряхнуть пыль. У меня нет патио и нет манговых деревьев. На улице, на которой я живу, с деревьев падают только разбитые бутылки. У нас с тобой не было даже палисадника, мама, но я говорю это не в упрек тебе. Ранним утром и иногда днем я начинаю мести свою память, пока она не начинает кровоточить. Я собираю воспоминания и сгребаю их в кучи, как в Окумаре-де-ла-Коста мы когда-то поступали с опавшими листьями, чтобы вечером их сжечь. Мне всегда очень нравилось, как пахнет костер, но теперь я разлюбила этот запах. Огонь способен очистить только тех, у кого ничего нет. В теперешних моих кострах слишком много горя и опустошенности.

С того самого вечера, когда ты рассказала мне о моей бабушке и ее восьми сестрах, которые явились к ней, когда она умирала, я часто думаю о нас. О том, кем мы были. Ты знаешь – кем... Мы были семьей, но у нашего деревца были слишком тонкие ветки, а плоды никогда не созревали и не становились сладкими. Знаешь что, мама?.. Я нехорошо поступила с нашими женщинами. Я не звонила Кларе и Амелии с тех самых пор, когда сообщила им о твоей смерти. Я им еще позвоню, мама, не сомневайся, просто сейчас мне хочется побереечь слова. Кроме того, каждый раз, когда я оглядываюсь назад, я лишь глубже увязаю в земле, которую вынуждена покинуть. Деревья иногда можно пересадить. Наши деревья больше не могут здесь расти, а я не хочу сгореть, как горят сухие древесные стволы, сложенные в погребальный костер. Не знаю, увижу ли я Клару и Амелию еще хоть когда-нибудь, но я не особенно переживаю. Они есть друг у друга, как были друг у друга мы с тобой. Но, как ты знаешь, теперь в этом мало проку. Я же пришла сюда, чтобы поговорить о другом.

Я никогда не рассказывала тебе, что случилось в *тот* день, когда я потерялась. Точнее, не рассказывала всего. Ты помнишь тот случай? Я не потеряла деньги и не задержалась, чтобы поглазеть на что-нибудь интересное, как ты, безусловно, знаешь. Я вышла из пансиона Фалькон, чтобы выполнить твое поручение – ты послала меня на рынок купить килограмм помидоров.

«Ты знаешь, сколько это – один килограмм? Хотя бы приблизительно?»

Я пожала плечами.

«Вот столько...» – Ты протянула мне согнутые ковшиком ладони, словно держа невидимые весы, на которых будут взвешены вполне реальные помидоры.

«Понятно?»

«Да, мама», – ответила я, глядя на верхушки манговых деревьев.

«Будь повнимательнее, Аделаида. И смотри, чтобы тебе не дали меньше. Помидоров должно быть вот столько: посмотри и запомни. – Ты снова показала мне ладони. – И еще одно: тебе должны дать сдачу, не забудь ее взять. И не мешкай, сразу возвращайся назад. Я не хочу, чтобы ты бродила по городу одна».

И я отправилась на рынок, который помещался на площади. Там я спросила килограмм помидоров, и мне дали пакет мелких, уродливых плодов. Я заплатила, сунула сдачу в карман и окинула взглядом соседние прилавки, впрочем, без особого интереса. Пирожки-эмпанадас с акульим мясом продавались в дальнем конце ряда – в киоске, где за прилавком стояла женщина, вымешивавшая несколько килограммов муки зараз. Это был один из тех импровизированных киосков, где огромные мужчины, грузчики из порта, покупали эмпанадас сразу по две штуки, с жадностью кусали и макали в горячую зеленую сальсу, которая ручьями стекала по их подбородкам.

И я пошла вдоль ряда – мимо киосков, навесов, лотков, – где стояли стеклянные банки с мелкими моллюсками и лотки с сардинами, люцианами и макрелью. Рыбы с открытыми пастьями, полными мелких зубов, и выпотрошенными животами лежали на чашах подвесных весов-коромысел с погнутыми стрелками. От них пахло требухой, солью и медью. Потом я миновала киоск с мороженым, где сверкали чаши колотого льда, подкрашенного фруктовым сиропом и политого сверху сладким сгущенным молоком, и пошла дальше, от ларька к ларьку, сжимая в руке пакет с помидорами.

Было очень жарко и душно. Такая жара бывает только в приморских городах. Пора было возвращаться. Это был строгий приказ, а я очень редко не слушалась. Твои приказы и распоряжения наделяли властью и меня, пусть только в пределах нашего с тобой маленького королевства. Они налагали на меня ответственность. Когда ты мне что-нибудь поручала, я мгновенно выходила из казавшегося бесконечным детства и становилась взрослой. Это было как носить туфли на высоком каблуке, только лучше. Но в тот день я решила

восстать против неписаных законов республики Фалькон. Я уже знала, что́ я скажу: что на рынке было слишком много покупателей, и мне пришлось ждать, или что грузовики, которые привозят товары из порта, где-то задержались, и продавцы овощей не смогли пополнить свои запасы.

Да, мама, в тот день я не спешила возвращаться домой, потому что на ужин у нас был пирог из черепахи, и в кухне уже собрались женщины-убийцы, одетые в кретоновые платья и с кухонными ножами в руках. Мне не хотелось смотреть, как мои тетки Клара и Амелия бросят в кипящий котел Панчо – красноногую черепаху, которую я кормила салатowymi листьями, – собираясь сварить его заживо, словно какого-нибудь омара. Мне не хотелось смотреть, как они разрежут Панчо на куски и станут тушить с перцем, луком и помидорами, и хотя при одной мысли о пироге с черепашиным мясом у меня текли слюнки, я предпочитала оказаться где-нибудь подальше от дома, пока Панчо будут варить. Все черепахи, которых варили при мне, издавали писк, который казался почти человеческим и который отдавался у меня в ушах и в животе, когда я, преодолев чувство вины, дочиста выскребала свою тарелку, подбирая последние крохи их страданий. Мне нравился остро-сладкий аромат и вкус нежного черепашиного мяса, но мне хотелось наслаждаться им, не думая о свершившемся жертвоприношении, о казни невинного существа. Я хотела есть мясо и не думать о смерти: в конце концов, в еде нет ничего постыдного. То же самое происходит со мной и сейчас, мама. Я сажусь за стол, стараясь не думать о том, кто и каким ножом вырезал из туши кусок, который меня насытит. Именно поэтому я рассказывала тебе о том, на чьей я стороне, – о тех, кто крадет, и о тех, кто старается ничего не замечать. А еще о тех, кто убивает, не двинув и пальцем.

В тот день я поднялась на Холм Мертвых. Ты его помнишь, это место? Так мы называли улицу, про которую ты раз сто говорила мне, чтобы я туда не ходила. «Ничего хорошего там нет», – говорила ты. В Окумаре эту улицу знали все. В самом ее конце находился заброшенный дом – большой красивый дом, целая усадьба. Он принадлежал одному архитектору. Даже ты и мои тетки время от времени упоминали этот дом. Тетя Амелия говорила о нем только шепотом, а когда ей приходилось его называть – осеняла себя святым крестом, а потом целовала ноготь большого пальца. Ты ее бранила. Так

делают только необразованные, невежественные люди, говорила ты. «Предраассудки!» – слегка понизив голос, выносила ты окончательный вердикт, и на этом разговор заканчивался.

Отыскать усадьбу было нетрудно. Она действительно находилась в самом конце улицы, почти на самом берегу реки. Замок на главных воротах красивого красного цвета оказался сломан, да и сами створки не были закрыты до конца. Я вошла в сад, заинтересовавшись кустами хлопчатника, которые служили главным украшением сада. Еще никогда я не видела ничего подобного. Кусты был почти сплошь покрыты пушистыми, упругими, как губка, комками белоснежных волокон. Я не знала, что это такое, но мне захотелось сорвать несколько штук и попробовать на вкус.

В тоне, каким мои тетки произносили слова «дом архитектора», было нечто зловещее, и я всегда думала, что он должен иметь пугающий, мрачный вид. Вот почему я очень удивилась, когда на самой окраине пыльного, захолустного городка я увидела обветшалый, но все еще красивый современный дом, благородные, выверенные пропорции которого невольно приковывали взгляд. Можно было подумать, что некие основоположники Баухауса^[46] вдруг задались целью привести этот заросший, некультуренный участок в порядок и познакомить его с прогрессом. Я никак не могла взять в толк, почему о самом красивом здании обширной помойки, лишь по недоразумению носившей название города, местные жители говорят в столь мрачном тоне. Дом архитектора не имел ничего общего с угрюмым и страшным замком злого волшебника, который я, наслушавшись теток, себе воображала. Казалось, его красота искупает и облагораживает окружающее убожество: бытовки из гофрированного цинкового листа, покосившиеся навесы, в которых местные рыбаки солили и сушили акулье мясо, бесчисленные винные лавчонки с занавесками из бус вместо дверей, возле которых оборванные мужчины пили дешевую анисовую водку из небольших квадратных бутылок.

Я вошла в дом без страха, привлеченная белыми завитушками карнизов и цветными витражными окнами. Но внутри меня встретила мерзость запустения. Ползучие растения и сорные травы почти полностью скрывали стекло и белые металлические детали ведущей наверх лестницы. Следы воды на стенах свидетельствовали о наводнениях, захлестывавших дом. Дверные ручки были вырваны.

Царивший в комнатах разгром указывал, что в усадьбе побывали воры, а в углах было полно осиных гнезд. Мебели почти не осталось, а пол был засыпан бумагами – записями по теории аддитивного цвета, заметками о том, как удерживать сферу в воздухе, а также чертежами и набросками каких-то металлических сооружений, каркасов и опор.

В одной из комнат я набрела на остатки библиотеки. Остановившись перед белой, гладко оштукатуренной стеной, я долго рассматривала сохранившиеся на полках книги. Одна из них была заставлена томами на французском. Именно там я впервые в жизни увидела книги знаменитого издательства «Галлимар»^[47] в переплетах цвета старой кости и с двойными тисненными линиями по краю корешка. Они показались мне очень элегантными и красивыми, их так и хотелось взять в руки. На других полках я нашла много учебников по искусству. Многие страницы из них были выдраны, но на оставшихся я прочла имена, которые тогда были мне не знакомы. Звучали они непривычно и, должно быть, поэтому глубоко врезались в мою память: Джозеф Альберс, Жан Арп, Колдер, Дюшан, Якобсен, Тэнгли^[48]... Портреты мастеров сопровождал довольно длинный текст. Приведенные тут же репродукции их творений выглядели странно, но мне они почему-то казались знакомыми.

Только потом я поняла, где я их видела. В Каракасе и улицы, и вагоны метро, и даже уличные переходы-«зебры» были выдержаны в том же или в очень похожем стиле. Прошло, однако, еще много лет, прежде чем я поняла, что гармония, сверкнувшая мне в заброшенной усадьбе на окраине приморского городка, некогда осеняла всю страну. Это было обещание или намек, что когда-нибудь и мы преодолеем варварство и отсталость, постигнем гармонию красоты и сумеем стать частью современной цивилизации. Протокол о намерениях... Увы, теперь наши намерения тоже лежали в руинах – совсем как оскверненные, лишенные своей первоначальной красоты дома, со стен которых сборщики железного лома сорвали декоративные металлические панно. Проржавевшие, смятые, эти некогда прекрасные произведения искусства до сих пор валялись по всему Каракасу.

И вдруг мне захотелось переехать в дом архитектора. Я мечтала, как я вывезу отсюда весь мусор, отремонтирую и стану здесь жить или хотя бы проводить в нем свободные часы, которых в пансионе сестер Фалькон у меня было в избытке.

В главной гостиной летали жирные мясные мухи. А возле лестницы я нашла несколько предметов, которые плохо вязались с самим духом этого места: разодранный служебник, несколько статуэток святых с отбитыми головами, брошюры без обложек с текстом Нового Завета, а также пустые бутылки из-под агуардиенте, морские ракушки, куриные перья и грязные тряпки.

Наверх я поднималась, слегка дрожа от возбуждения и восторга. Ступеньки, разъеденные соленым воздухом Окумаре, слегка поскрипывали у меня под ногами. С верхней площадки мне снова стали видны хлопковые кусты, которые сверкали в солнечных лучах ослепительной белизной. Порыв ветра донес до меня голоса женщин, стиравших в реке белье и одежду.

Пакет помидоров выскользнул у меня из рук и упал на крышку картонной коробки, которая отозвалась глухим гулом. Можно было подумать, что в пакете у меня были камни, а не овощи.

«Кто здесь?»

Голос был мужской.

Я пулей слетела по лестнице вниз, запнулась о какую-то балку и до крови ссадила коленку, но мой страх был сильнее боли. Я выбежала из дома, ни разу не оглянувшись, и не останавливалась, пока не добежала до рыночной площади. Только там я слегка замедлила шаг и увидела, что мои джинсы разорваны на колене, а ткань пропиталась кровью.

В пансион я вернулась через час. Не помню, что было хуже: крик Панчо, которого варили живьем, или взгляд, которым ты встретила меня, когда я вошла – в разорванных джинсах и без помидоров. Я знаю, ты не поверила мне, когда я сказала, что потеряла пакет. Ты рассердилась, но никак этого не показывала, и от этого мне было еще больнее. Мы вместе сходили на рынок за помидорами, а потом ели несчастного Панчо, но без всякого аппетита. Я, во всяком случае, никакого вкуса не почувствовала. Тетки то входили в столовую, то вновь выходили на кухню, и их большие, по-старушечьи дряблые зады тряслись при каждом шаге.

«Ты все испортила, Амелия. Это совершенно невозможно есть», – сказала наконец Клара своей старшей сестре, которая в ответ метнула на нее яростный взгляд.

«Девчонку нужно держать в узде! Боже мой, она совершенно не знает, как нужно себя вести!» – отозвалась Амелия, пытаюсь перенаправить свой гнев в мою сторону.

«Клянусь Девой из Вайе!^[49] Она станет совершенно неуправляемой, если ее не приструнить!» – проворчала Клара.

Но ты, мама, отправила в рот крошечный, почти символический кусочек пирога. На огорчение своих сестер ты не обратила внимания. Или притворилась, что не обратила.

«Аделаида, детка, я сама приготовила для тебя эту черепаху! Почему же ты не ешь?»

«Нет, эта девчонка твердо решила испортить нам день!»

«Боже мой, до чего же ты упряма! Ты только посмотри, до чего ты довела свою мать!» – И тетка Клара посмотрела на меня глазами бешеной кобры, стараясь показать, до какой степени она возмущена моим проступком и тем спектаклем, который я устроила за столом.

Но ты, мама, продолжала есть, как ни в чем не бывало. Ты и бровью не повела. Когда ужин закончился, ты первой встала из-за стола и отправилась мыть посуду. Со мной ты не разговаривала два дня. И это первое в моей жизни наказание молчанием было хуже всякой порки. Но такой у тебя был характер, мама. Так уж ты была устроена.

* * *

Таксист дважды нажал на клаксон. Я задержалась на кладбище намного дольше, чем мы договаривались. На этот раз я шла к машине не оборачиваясь. Внутри меня медленно плавилась, превращались в раскаленный металл буквы, украденные с твоей могилы. Буквы, которые составляли наше имя, твое и мое: Аделаида Фалькон.

Сев на пассажирское сиденье, я объяснила водителю, как проехать в другую часть кладбища, расположенную на ровном участке вдалеке от холмов (дорогу я заранее узнала в администрации). Скоро между высокими деревьями замелькали разделенные дорожками ряды цветников и каменных плит, под которыми, уложенные друг на дружку, спали вечным сном в глубоких могилах десятки и сотни людей. Самые

старые могилы просели, ушли в травяной ковер, а их давно истлевшие обитатели смешались с землей.

– Подождите здесь, – сказала я. – Я быстро. И не беспокойтесь, я заплачу вам за ожидание.

Таксист фыркнул, словно поездка со мной на кладбище могла его разорить. Не обратив на него внимания, я взяла с сиденья букетик фиалок и выбралась из машины.

Поблизости не видно было ни одной живой души. Дорожки между могилами покрывал толстый слой сухой листвы, хрустевшей под ногами. Эта часть кладбища была более старой, чем та, где покоилась мама; здесь хоронили в основном иммигрантов из Европы. Их скромные надгробные плиты хотя и имели одну и ту же прямоугольную форму, отчего они казались совершенно одинаковыми, все же немного отличались друг от друга: над одними крутились на слабом ветру игрушечные бумажные вертушки, на других лежали игрушки и конфеты, предназначенные для детей, умерших два десятка лет назад. Кое-где виднелись засохшие пасхальные пульсатиллы и выгоревшие на солнце рождественские елочки из пластмассы. На большинстве надгробий сохранились запыленные фотопортреты мужчин и женщин разных возрастов, одетых в старомодные костюмы и платья.

Могила Хулии Перальты я нашла в нескольких шагах от старого дерева. Она густо заросла травой, почти скрывавшей каменную плиту. Мне пришлось встать на колени и выдернуть несколько сорняков, чтобы прочесть на камне ее полное имя: Хулия Перальта Вейга. Мое движение вспугнуло сотни муравьев-листорезов, которые в панике бросились врассыпную. Их было очень много – маленьких красных насекомых, очень похожих на тех, из которых готовят жгучие мексиканские соусы и горькие маниоковые настойки. Несколько муравьев, поводя усиками, окружили овальный фотокерамический портрет Хулии – студийный снимок, выглядевший официальным и бездушным. Впрочем, и в жизни Хулия Перальта казалась холодной и отрешенной, словно она никогда не принадлежала к нашему миру.

Пока я пристраивала фиалки в вазу, один из муравьев укусил меня за указательный палец. Я поспешно выпрямилась и, попятившись от могилы, сжала палец свободной рукой, пытаясь выдавить яд. На коже краснела крошечная дырочка, похожая на булавочный укол. Ранка

пульсировала и горела огнем. Стараясь действовать как можно осторожнее, я попыталась сбить траву и сорняки подобранной тут же палкой, но это оказалось непосильной задачей. Кроме того, палец у меня распух, сделавшись чуть не вдвое толще: на муравьев у меня всегда была аллергия.

Должно быть, Хулия Перальта сочла мой визит неуместным и нежелательным и решила прогнать меня от своей могилы, послав в атаку муравьев, чьи яйца множились в земле по желанию муравьиной царицы. Посасывая пострадавший палец, я подобрала успевший слегка завянуть букетик и положила на табличку, на которой было вырезано имя Хулии.

Не знаю, чего я хотела – попросить у нее прощения или, напротив, благословения. Я вообще не знала, зачем я стояла возле могилы, которая могла бы служить последним пристанищем и для дочери Хулии. Могла бы, если бы не я. Я вмешалась, и теперь Хулия спала сном праведницы в глубокой могиле, а ее дочь сгорела в мусорном контейнере вместе с отбросами.

А виновата была я.

Я...

Если каждый из нас принадлежит земле, в которой лежат наши мертвые, к какому месту теперь принадлежу я? Мертвых можно хоронить, только когда в стране царят мир и справедливость. У нас не было ни того, ни другого, и поэтому наши умершие не могли рассчитывать ни на покой, ни тем более на прощение.

– Ле-ле-ле-ле-ле, несите, несите букеты, // Иоанну Предтече яркие букеты... – пели июньскими ночами чернокожие жители Окумаре-дела-Коста. – Скверные времена не вернутся, – скандировали они, вращая бедрами на ночных пляжах моего детства. – Ле-ле-ле-ле-ле, несите, несите букеты, // Иоанну Предтече яркие букеты...

Я принесла букетик фиалок женщине, которую толком не знала и которую ограбила, лишив всего. Святой Иоанн не вернулся на небеса, на земле не воцарился мир. Сейчас мне казалось, что кладбищенские деревья роняют на землю перья обезглавленных кур. Что помидоры снова падают и разбиваются вдребезги. Что черепахи, которых варят заживо, кричат и кричат в кастрюлях с кипятком. Что из моего горла вырываются наружу облака хлопковой ваты и скользкие мертвые рыбы. Что моя умершая мама вновь наказывает меня молчанием,

которое будет длиться вечность. И что моя вторая мать, мать-испанка, кормящая муравьев своим телом, заодно питает их злобу и ярость, которые с каждым днем все сильнее захлестывают страну, в которой она предпочла умереть.

Нет, никто из нас больше не может покоиться с миром. Никто.

– Везите на перекресток проспекта Урдането и Ла Пелоты, – сказала я таксисту, с силой захлопывая за собой дверь.

* * *

– Пассажирка рейса на Мадрид Аврора Перальта! Вызываю пассажирку рейса на Мадрид Аврору Перальту! Будьте добры, подойдите к любому служащему аэропорта!..

Оставив свой паспорт на стойке, я стала спускаться к площадке перед выходом на летное поле. Я подчинилась. Это был единственный выбор, когда выбора нет.

– Черт!.. – вполголоса пробормотала я, поправляя жилет со светоотражающими вставками. Такие жилеты заставляли надевать всех, кто должен был пройти таможенный досмотр.

Это была уже третья проверка, и я знала, что она будет последней и решающей. Проверка, которая определит, суждено ли мне лететь или остаться. Неудивительно, что я потела сильнее, чем обычно, и держалась чрезмерно любезно, что выдавало меня с головой. Так всегда бывает с теми, кто не умеет лгать и хладнокровно совершать преступления. И вот я стою без паспорта перед нацгвардейцем, который с удовольствием демонстрирует свою власть. Власть надо мной. Он заставил меня поставить чемодан на металлический стол. Он поднял руку, чтобы я отошла. Он отпер замок. Он посмотрел на меня в упор, встав так, чтобы я заметила не только его защитного цвета форму, но и россыпь медалей и значков на груди, пистолет в кобуре и подсумок с запасными обоймами. Обоймы были снаряжены пулями, которым еще только предстояло быть выстреленными по кому-то. Порывшись в моих вещах, как это умеют только представители власти, когда хотят показать, что они действительно Власть, нацгвардеец сказал:

– Зачем вы везете столько книг и бумаг? Чем вы занимаетесь?

- Я повар.
- Вот как?
- Да, вот так.

Он снова склонился над чемоданом, внимательно разглядывая мои вещи: книги, блокноты и старые фотографии, которые я взяла, чтобы подстегнуть свою память, если мне вдруг понадобится вспомнить, кто я такая на самом деле и кем была раньше. Кроме них в чемодане лежали кошмарная, давно вышедшая из моды одежда Авроры, фотоальбомы и письма, которые я выучила наизусть и теперь везла с собой, словно студент, которому предстоит сложный экзамен. В двойном дне, который я сделала специально для этой поездки, лежали два комплекта документов на квартиру Авроры и на мою. Они не были фальшивыми, но, поразмыслив, я все же решила спрятать их понадежнее.

Стоя на краю летного поля международного аэропорта имени Вечного Команданте Революции, где пахло морем и авиационным керосином, я смотрела, как передо мной одна за другой появляются мои вещи, которые должны были пересечь Атлантику вместе со мной. Чувствовала я себя при этом так, словно прямо передо мной потрошили кита, заставляя меня прикасаться к его внутренностям. Жгучий стыд сжигал меня, мне хотелось прикрыть вещи от чужих взглядов и прикрыться самой, но я не смела возражать. Я не сделала ни одного жеста, который мог быть истолкован как протест. Я даже не спросила нацгвардейца, сколько пуль в его кобуре несут на себе наши имена. Еще меньше мне хотелось искать помощи у других пассажиров, которые стояли в очереди позади меня. Мы, гражданские, должны были подчиняться силе.

– Значит, вы повар? Что же вы готовите? Какие блюда? А все эти книги... Неужели они нужны вам для того, чтобы готовить самую обычную еду? – не отступал нацгвардеец.

– Я готовлю выпечку и сладости, офицер. А книги... Мне просто нравится читать. Иногда, пока я жду, чтобы духовка разогрелась как следует, мне становится скучно, и тогда я беру в руки какую-нибудь книгу. Просто чтобы скоротать время, понимаете?

– Гм-м-м... Ну... что еще?

– Не понимаю. – Я продолжала глядеть на него открыто и прямо.

– Я спрашиваю, чем еще вы намерены заниматься? Вы едете в Испанию, чтобы работать там поваром? У вас нет обратного билета, гражданка. Разве вы не собираетесь возвращаться?

В качестве ответа на этот вопрос у меня была заготовлена целая речь, которую я выучила наизусть и не раз репетировала перед зеркалом в ванной комнате.

– Видите ли, офицер, моя тетка больна. К счастью, она поправляется, бедная старушка, но... – Мне очень не нравилось говорить таким тоном, но это был единственный способ доиграть свою роль до конца и добиться цели. – ...Но как раз сейчас она очень нуждается в уходе. Я еду в Испанию, чтобы заботиться о ней, так что вернуться я смогу, только когда она совсем поправится. – Я улыбнулась. – Вот почему я пока не стала покупать обратный билет.

– Гм-м, ладно... – изрек нацгвардеец с таким видом, словно не читал моих бумаг и не понимал ни слова из моих объяснений. Чем-то он был очень похож на маленькую тропическую обезьянку, которая решила притвориться человеком.

– Подождите здесь, гражданка.

Он ушел. Ожидание тянулось невыносимо медленно. Я боялась, что нацгвардеец пошлет меня в досмотровую. В этой страшной комнате пассажиров раздевали догола и обыскивали, а потом помещали внутрь рамки телерентгеносканера на случай, если человек прятал ценности или капсулы с наркотиками в желудке или в других местах. Отправиться туда означало отправиться в ад.

Наркотиков у меня не было, а вот ценности – были. Кое-что я спрятала на теле. И теперь при одной мысли о том, что меня ждет, если их обнаружат, у меня подкосились ноги, а голова закружилась. Тем более что таможенникам не понадобился бы никакой рентген, чтобы найти мою контрабанду. Все самое важное я засунула под ортопедический корсет, который надела перед поездкой в аэропорт. Довольно прозрачная уловка, но я надеялась, что она все-таки сработает. Под корсетом я разместила оставшиеся у меня евро и банковские карточки Авроры, а в сумочке, в которую я вшила потайной карман, лежали документы и карточки на мое настоящее имя.

И все же на личный досмотр я не рассчитывала. Мне должно было очень не повезти, чтобы таможенникам взбрело в голову меня

обыскать. Но ход событий всегда определяет не тот, кто боится, а тот, кто умеет внушить страх. Так кошка играет с мышью, прежде чем съесть. Так власть подавляет волю человека, еще не причинив ему настоящего вреда.

Тем временем нацгвардеец вернулся. Он двигался мерным широким шагом; его снедала скука, которая была еще тяжелее его начищенных сапог.

– Как зовут вашу тетку, гражданка?

– Пакита Перальта, офицер.

– Верно, Пакита Перальта... Вы везете с собой какие-нибудь продукты?

– Нет, офицер. Можете сами убедиться.

– Да нет... Я задал этот вопрос только потому, что мы должны следить за соблюдением экологического законодательства и таможенных правил.

Мой чемодан все еще стоял на столе с открытой крышкой. Страж границы выхватил из него одну книгу и понюхал.

– Если вы повар, почему вы не везете с собой никаких продуктов?

– Потому что я еду не работать, а заботиться о больной женщине.

– Гм-м... А о чем эти книги? Это книги с рецептами блюд?

– Нет, офицер, это художественные книги... Романы. Я читаю их просто для развлечения.

– Гм-м... А где проживает ваша тетка?

– В Мадриде, офицер.

– И в какой его части? Отвечайте на вопрос, гражданка. Быстро!

– В Лас-Вентасе, офицер. Неподалеку от арены для боя быков.

– В самом деле? Разве в Мадриде все еще проводятся корриды?

Я кивнула.

– А как насчет вас? Вы тоже испанка? И вы летите в Мадрид, не купив обратного билета в надежде, что вам разрешат остаться там надолго, не так ли? У вас есть соответствующие документы?

– Моя мать была испанкой. А у меня, как вы можете убедиться, имеется двойное гражданство.

– Гм-м... А где ваш испанский паспорт?

Голова у меня снова закружилась и похолодело в животе.

Я сунула руку в карман.

– Вот он, офицер.

– Почему вы не предъявили его сразу?

– Потому что... потому что я гражданка этой страны тоже... – пробормотала я, все еще держа паспорт в руке.

– Дайте его мне.

Я подчинилась не сразу. Какое-то мгновение я колебалась, не решаясь выпустить из рук единственный документ, который придавал моей жизни хоть какую-то ценность. Наконец я все-таки протянула его нацгвардейцу – протянула с таким чувством, словно расставалась с почкой.

– Ждите здесь.

И он снова ушел. Ожидая его возвращения, я вдруг подумала о том, что в любой сколько-нибудь сложной или сомнительной ситуации решение должен принимать начальник рангом повыше, чем простой нацгвардеец, чья компетенция вряд ли распространялась на что-либо, кроме рутинных процедур.

Рядом со мной ожидала решения своего вопроса совсем юная девушка, у которой конфисковали восемь плиток шоколада. Она не была гражданкой Испании, и ей пришлось не меньше сотни раз объяснить, что она едет в Барселону, чтобы учиться в университете и получить диплом магистра. Отломив по кусочку от каждой плитки, нацгвардеец внезапно спросил, собирается ли она возвращаться. Ни секунды не колеблясь, девушка ответила, что да, собирается.

Еще за одним столом пожилой женщине пришлось разматывать огромные клубки шерсти и объяснять, что они предназначены для вязания. Вообще в очереди со мной стояли в основном женщины или пожилые люди, запугать которых было проще всего.

Я мельком взглянула на немецких овчарок, которых Национальная гвардия использовала для поиска наркотиков, прибывавших из других стран (власти, впрочем, предпочитали умалчивать о подобных случаях). Собаки были без намордников. Они обнюхивали все вокруг, совали свои носы пассажирам в промежность, в сумочки, под платья. Нацгвардейцы рылись в вещах, тыкали в нас пальцами, стараясь сделать побольнее. Они называли нас гражданами, но обращались с нами словно с преступниками. Время от времени они делали вид, будто подозревают в чем-то какого-нибудь злосчастного пассажира и задерживали его, давая возможность беспрепятственно пройти контроль тем, кто вез с собой спрятанный кокаин. Пропускать багаж

наркокурьеров без досмотра и задерживать обычных пассажиров, имитируя при этом бурную деятельность, было, несомненно, весьма приятным занятием. Наркотики приносили нацгвардейцам хорошие деньги, а запугиванием они занимались для собственного удовольствия.

«Мой» нацгвардеец вернулся. В руках у него был мой испанский паспорт.

— Гм-м-м...

Я не понимала, что означает этот звук. Вообще, обращаясь ко мне, он больше мычал, чем говорил по-человечески.

— Следуйте за мной, — произнес он наконец.

Вот и конец, подумала я. Мне конец. Теперь я все равно что труп. И все же я послушно двинулась следом за ним по бесконечному серому коридору. У меня не было паспорта. Не было мобильного телефона. Не было ничего, что я могла бы использовать для собственного спасения. Я перестала быть и Аделаидой Фалькон, и Авророй Перальтой. Я была никем. Если меня изнасилуют и убьют, об этом никто никогда не узнает.

Нацгвардеец привел меня в кабинет, где какой-то тучный мужчина перебирал лежащие на столе бумаги.

— Садитесь. Ваше имя?..

— Аврора Перальта.

— С какой целью летите в Испанию?

— Чтобы ухаживать за больной родственницей.

— У вас имеется при себе общеевропейская валюта, гражданка? Какая сумма?

Я не знала, кто этот человек и какую должность он занимает, однако именно он, похоже, обладал властью приказывать, и я очень быстро передумала называть его «офицером».

— Нет, *сеньор*.

— На что же вы собираетесь жить?

— Я буду жить вместе с родственниками.

Мужчина за столом перелистал страницы моего паспорта и громко вздохнул. Звук был такой, словно он пустил ветры.

— Капрал Гутьерес доложил мне, что с вами все в порядке. Чтобы убедиться в этом окончательно, мы должны пропустить вас через рентгеновский сканер.

От этих слов у меня потемнело в глазах. Кажется, я даже зашаталась, потому что мужчина сказал:

– Не беспокойтесь, гражданка, вам это не будет стоить ни боли́вара. Государство само оплатит досмотр. Правда, это довольно продолжительная процедура, а у нас тут полный самолет пассажиров, и тем не менее... Будьте так любезны, пройдите в досмотровую с капралом Гутьересом. Ваш паспорт останется у меня. Если будете сотрудничать, мы вернем его вам после досмотра.

Гутьерес упер кулаки в бока, и я мельком подумала, не обменять ли мне быстрый секс на быструю безболезненную смерть. Что еще мне оставалось? Кричать? Но какой смысл? Чем это могло мне помочь?..

– Хорошо, сеньор. Я готова сотрудничать, если это будет в моих силах, – ответила я, заранее чувствуя во рту аммиачный вкус спермы.

– Вот и отлично. Идите с капралом и... смотрите, чтобы без сюрпризов, гражданка.

Гутьерес снова вывел меня на площадку на краю летного поля.

– Сними жилет, – приказал он.

Его неожиданная фамильярность испугала меня. Не говоря ни слова, я сняла жилет и положила на стол рядом с чемоданом.

– Иди за мной.

Мой самолет все еще стоял на стоянке, а я все еще была на земле Венесуэлы.

На этот раз капрал Гутьерес повел меня по другому коридору, который привел нас в главный зал аэропорта. Остановившись перед одним из дьюти-фри-магазинов, который буквально ломился от спиртного, косметики, духов и прочего, он повернулся ко мне и сказал неожиданно изменившимся голосом:

– В общем так, сорóка, заходишь внутрь и покупаешь телевизор «Самсунг»... вон тот, самый большой. Потом подходишь к кассе, показываешь билет и документы и выходишь с ним сюда. Ясно?..

Пока он говорил, я кивала, как китайский болванчик.

– Но, офицер, у меня нет денег, чтобы купить телевизор!

– Это тебя не касается, детка. Ты, главное, принеси его мне, и все.

Я выбрала телевизор, предъявила на кассе билет и документы, кассир распечатал квитанцию и прикрепил к коробке.

– Спасибо за покупку и приятного путешествия, – сказал он равнодушно.

Я вернулась к Гутьересу. Он кивком показал на пол перед собой, и я поставила телевизор к его ногам. Тут же рядом с нами, словно из-под земли, появился служащий аэропорта, который подхватил коробку и куда-то унес, а мы повернулись и двинулись назад. Наш путь закончился там же, где начинался – возле стола для досмотра, где все еще лежал мой багаж. Окинув внутренность чемодана скупающим взглядом, Гутьерес кивнул.

– Все в порядке, гражданка, – сказал он и протянул мне оба моих паспорта на имя Авроры Перальты – венесуэльский и испанский. К обложке испанского паспорта был приклеен круглый желтый стикер.

В зал ожидания я поднялась с трудом. Меня не держали ноги, колени тряслись.

За стеклянной стеной зала ожидания была видна взлетная полоса и несколько сотрудников аэропорта – мужчин и женщин, которые размахивали руками, словно пытаясь заставить самолеты сплясать. Гладкий асфальт сверкал на солнце, словно только что начищенная вилка, а от рева турбин тряслись толстые стекла. Часы над барной стойкой не работали, уснувшие стрелки остановились ровно на двух пополудни. Достав паспорт, я перелистала его страницы и попыталась убедить себя, что теперь я на самом деле стала Авророй Перальтой.

Повсюду вокруг меня пассажиры тупо пялились в телефоны. Тыча пальцами в экраны, они убивали время и одновременно пытались заглушить страх перед полетом. Между тем время близилось к вечеру, и зал ожидания аэропорта превратился в печь крематория (правда, с кондиционером), из которой измученные жарой пассажиры – женщины, мужчины, дети – слали свои последние перед полетом через океан письма. Мне они напоминали проигравшихся в пух и прах игроков, которые вдруг решили выбросить кости в последний раз – а вдруг повезет? Людей, которые раз и навсегда сжигают за собой мосты. Улететь и никогда больше не возвращаться – это было лучшее, что могло случиться с каждым из нас.

В сумочке неожиданно зазвонил мой собственный мобильник. Это была Ана. Она то кричала, то плакала навзрыд, и сначала я ничего не могла разобрать. Потом телефон взял Хулио. Сантьяго погиб, сказал он. Его нашли на пустующей автостоянке на окраине города. Три пули в голову. В рюкзаке у него был пакет с кокаином.

– С кокаином?!..

– Да, Аделаида. Разве ты не видела утренние газеты? Правительство... – Он буквально выплюнул это слово. – Правительство представило все так, как умеет только оно. «Убитый студент, один из лидеров оппозиции, оказался наркокурьером». – На линии что-то зашуршало. – ...Алло? Ты меня слышишь?..

– Да, я все слышала. Передай трубку Ане.

Хулио позвал жену к телефону.

– Это ложь! – выкрикнула она. – Ты же знаешь, что это ложь!

– Да, знаю... Послушай, Ана... Сейчас самое главное... самое главное – успокоиться! – Я с удивлением поймала себя на том, что тоже повысила голос, словно крик мог помочь мне справиться с растерянностью.

– Нет! Нет!..

– Ана, послушай... – Но разговаривать с ней было совершенно невозможно. Она все время плакала, ничего не слышала, ничего не понимала. – Ана! Ана, выслушай меня, пожалуйста!.. Я... я... Ты меня слышишь?..

Связь прервалась. Я пыталась несколько раз перезвонить, но вместо соединения телефон сразу переключался на голосовую почту. На всякий случай я оставила три сообщения, хотя они уже ничем не могли помочь.

Стараясь отвлечься от мрачных мыслей, я стала пристально следить за сновавшими по летному полю грузовичками с прицепленными к ним тележками, на которых громоздился багаж. По радио объявили, что посадка на рейс до Мадрида вот-вот начнется. Грузчики торопливо закидывали в стоящий рядом с выходом на посадку грузовичок последние коробки и чемоданы. Сжимая в руке мобильный телефон, я пыталась разглядеть свой багаж, но так ничего и не высмотрела. Из окон зала ожидания все чемоданы внизу казались совсем крошечными – ни один из них не смог бы вместить жизнь Авроры Перальты. Потом я подумала, что с чемоданами здесь обращаются точно так же, как с людьми: их швыряли друг на друга как попало или пинали ногами, передвигая с места на место. И мы, и наши чемоданы были беспомощными и бесправными, словно товар на гигантском рыбном рынке. Кто-то резал, потрошил, четвертовал и распластывал нас, а потом бесцеремонно рылся в наших

внутренностях, пытаюсь найти сокровища, которые мы спрятали внутри.

В тот день я поняла, из чего сделаны прощания. Мои состояли из пригоршни дряни и требухи, из далекой линии побережья и легкой голубоватой дымки над страной, которую мне не хотелось даже оплакивать.

Поднявшись на борт лайнера, я нашла свое место и села. Отключив по требованию бортпроводницы телефон, я вместе с ним отключила и собственные нервы. Повернувшись к иллюминатору, я с удивлением обнаружила, что снаружи наступил вечер и над городом вставало голубоватое, слегка пульсирующее электрическое зарево – зрелище прекрасное и отталкивающее одновременно. Каракас выглядел гостеприимным и в то же время пугал, словно жаркое логово огромного зверя, который продолжал смотреть на меня из темноты голодными змеиными глазами.

«Жить» и «уезжать» – вот два созвучных глагола, но какая же между ними разница!

* * *

Мне снилось, будто я пошла на реку, чтобы выстирать свое белое платье. Рядом со мной шагала какая-то незнакомая хмурая девочка в разорванных джинсах. Сквозь дыру над правым коленом виднелась покрытая засохшей кровью царапина. Она тоже несла в руках таз для стирки, в котором лежало какое-то грязное тряпье. Я спросила у девочки, как ее зовут, что с ней случилось и где ее мама, но она не ответила. Вместо этого она схватила меня за руки и с силой циклопа потащила в воду. В считанные секунды мы погрузились в грязную реку, которая была совершенно не похожа на ту, где я всегда полоскала свои простыни. Мы плыли среди колышущихся экскрементов, похожих на свернувшихся змей, идохлых лошадей – на спинах некоторых все еще сидели всадники. Глаза всадников были открыты, но имели цвет свернувшегося белка, и в них не было заметно ни малейшего проблеска жизни. Довольно долго мы медленно плыли в мутном теплом супе из крови и дерьма, то и дело сталкиваясь с трупами животных и людей. Не в силах вернуться на берег, мы отдались на

волю течения, которое медленно, словно в кошмаре, кружило нас в бесконечном водовороте. Потом девочка снова потянула меня за руку и увлекла на самое дно, где в едва пробивавшемся с поверхности свете колыхались длинные щупальца водорослей и завитки затвердевшего дерьма.

Я пыталась вырваться и выплыть обратно к солнцу, но девочка продолжала тянуть меня за кисть, словно хотела что-то мне показать. И я увидела... За тушей оседланной лошади без всадника висело в воде скрюченное тело. Это был зародыш мужского пола, обернутый колышущимися лохмотьями сгнившей плаценты. Не выпуская моей руки, девочка подплыла к нему, взяла за плечо, повернула, и я узнала Сантьяго. Свободной рукой девочка обхватила его за плечи, и мы все трое обнялись, висая в воде посреди островов дерьма, косяков мертвых рыб и разлагающихся трупов.

Я открыла глаза и увидела озабоченное лицо склонившейся надо мной стюардессы.

– С вами все в порядке, сеньора?..

Должно быть, я кричала во сне.

– Да, все хорошо. Просто плохой сон...

Во рту у меня пересохло, слюна была клейкой и густой, пальцы мертвой хваткой вцепились в лежащую на коленях сумочку.

– Через час мы приземлимся в аэропорту Барахас. Принести вам завтрак?

Я кивнула, все еще не совсем придя в себя. В салоне самолета вкусно пахло свежим горячим хлебом. Стюардесса вернулась с завтраком и поставила поднос передо мной. На подносе лежали нарезанные ломтиками фрукты, крошечное блюдечко с кубиком замороженного масла и дряблый омлет для голодных путешественников.

– Вам чай? Кофе? Со сливками?.. С сахаром? С подсластителем?..

Слишком много вопросов, слишком много... Хотите ли вы лететь до конца или предпочитаете вернуться? Вас зовут Аделаида Фалькон или Аврора Перальта? Вы убили ее или она была уже мертва? Вы беженка или воровка?.. Мне вдруг перестало хватать воздуха, просторный салон авиалайнера показался тесным и маленьким.

– Я хочу... пить... – прохрипела я пересохшим горлом.

– Минеральной воды? Сока? Ананасового или апельсинового?

– Апельсинового. Принесите мне апельсиновый.

Схватив поданный стюардессой стакан, я с жадностью глотнула разведенного концентрата. Едкий химический напиток, от которого едва уловимо пахло апельсинами, оросил иссохшую равнину моего разума, вернул меня к жизни и помог собраться с мыслями. Я огляделась. Место рядом со мной было свободно, и я принялась катать на подносе хлебные катышки. Глядя на тонкие сероватые трубочки, выходявшие из-под моих пальцев, я думала о том, что заканчивается все точно так же, как и начиналось, – стопкой грязных тарелок. Темное небо за иллюминатором источало неясную угрозу, и казалось, будто неспешный восход солнца способен задержать день, подходявший к концу на другой стороне океана. Оставить все позади и начать с чистого листа – вот чудо, которое Атлантика совершает с теми, кто дерзнет ее пересечь.

К завтраку я почти не притронулась. Стюардесса забрала поднос и двинулась дальше по проходу, торопливо собирая пустые чашки и использованные салфетки. Командир лайнера объявил по громкой связи, что через двадцать минут мы приземлимся в мадридском аэропорту Барахас. Температура на земле, добавил он, составляет двадцать один градус по шкале Цельсия, и я снова повернулась к заиндевавшему иллюминатору.

Когда смотришь на большие города с высоты, они кажутся ненастоящими, похожими на тщательно выписанные миниатюры или коллекционные модели. Маленькие дома, перепутанные нитки шоссе, зеленеющие лужайки, сверкающие пруды, крошечные автомобили, ползущие неизвестно куда... Далекая, чужая жизнь, которая не имеет к тебе никакого отношения.

Приземление произошло неожиданно. Я почувствовала удар, и вот самолет уже несется по полосе. Запах остывшего хлеба преследовал меня все то время, пока я двигалась по проходу к единственной двери, которая по одному, словно во время родов, выталкивала пассажиров наружу. Опустевший салон напоминал поле битвы: растрепанные газеты, брошенные подушки и пледы, смятые стаканчики с остатками сока и газировки, последние вздохи и зевки, туманом осевшие на иллюминаторах...

Я шла по посадочному «рукаву», держа паспорт перед собой, точно компас. Зал прилета выглядел современным и новым, как,

собственно, и должно быть в мирной, богатой стране. Возле поста иммиграционного контроля я обнаружила две очереди: одну для иностранцев, другую – для граждан Евросоюза. Чувствуя себя обманщицей, я встала в очередь для европейцев и стала ждать. Наконец подошла моя очередь, и офицер национальной полиции – чисто выбритый, с открытым привлекательным лицом, взял в руки мой паспорт. Глядя на него, я подумала, что он никогда не сможет стать таким же непредсказуемым и опасным, как одетый в полевую форму с россыпью медалей на груди капрал Гутьерес.

Процесс превращения в другого человека всегда замедляется и идет с трудом, как только на твоём пути возникает государственный служащий или чиновник. Это все равно что продавать собственные страдания и боль на развес. В моем испанском паспорте не было ни одной отметки. Его страницы – в отличие от моей совести – были девственно-чисты. Должно быть, именно это привлекло внимание полицейского, который внимательно разглядывал каждую. Он взглянул на дату выдачи паспорта, на фотографию «Авроры Перальты», на меня, потом закрыл паспорт и протянул мне. «До свидания, сеньора» – вот и все, что он мне сказал. Ничего больше. Так, в маленькой комнатке поста иммиграционного контроля я превратилась в гражданку Испании – и всё благодаря магии проштампованной нужными печатями бумажки. Пожалуй, в первый и единственный раз я *действительно* ощутила себя человеком, которого собиралась заменить собой.

На подгибающихся ногах я направилась в главный вестибюль вокзала, неся свое имя, словно прожектор, который должен был освещать мне путь. «Карусель» в зале выдачи багажа выплевывала чемодан за чемоданом. Флуоресцентные лампы на потолке делали зал похожим на инкубатор, в котором спрятанная внутри меня женщина могла бы расти и развиваться. Сейчас я была своей собственной матерью и своим собственным ребенком – так подействовало на меня волшебство моего отчаянного поступка. В этот день я родила сама себя. Сжав зубы, я вынесла родовые схватки, ни разу не обернувшись назад. Теперь мне оставался только чемодан. Я схватила его за ручку и быстро пошла к выходу.

– Проклятая страна, больше ты меня не увидишь! – выругалась я вполголоса.

Этим утром, впервые в жизни, я одержала победу. Острый гарпун вошел мне в бок, но я все-таки победила.

Каждый океан – хирург, и его острый скальпель вонзается в сердце каждого, кто осмеливается его пересечь.

* * *

У самого выхода из аэропорта встречала кого-то целая семья с воздушными шарами в руках, плакатами со словами приветствия и поздравлениями с благополучным прибытием на землю Испании. Выражение на лицах этих людей то и дело менялось: радостное возбуждение уступало место разочарованию, охватывавшему их, как только они убеждались, что среди тех, кто направлялся к автоматическим стеклянным дверям, нет того человека, которого они с нетерпением ждут. Еще несколько мужчин поднимали над головой электронные табло с именами пассажиров; сильно накрашенные женщины, одетые как стюардессы, встречали группы организованных туристов.

Не знаю почему, но мне вдруг захотелось их всех избить. Не знаю почему, но мне захотелось броситься на них, измолотить в кровь, может быть, даже прикончить. Мне хотелось быть ураганом. Харрикейном. Неуправляемой могучей стихией.

Волоча за собой вдруг ставший очень тяжелым чемодан, я добрела до свободной скамьи и села. Достала записку с адресом: Лас-Вентас, улица Лондрес, дом 8. «Ты должна сказать таксисту, что дом находится внутри кольцевой дороги М-30», – написала Мария Хосе в своем последнем электронном письме. Далее следовало еще с десятков строк с подробными инструкциями и только в самом конце – пожелание приятного путешествия. Что оно означало, к кому относилось? Желают ли «приятного путешествия» тому, кто уезжает, или, напротив, тому, кто возвращается? Кому адресовано это пожелание: человеку, которым ты был, когда уезжал, или тому, кем ты стал, когда приехал под чужим именем?..

На мгновение я задумалась, что будет, если я так и не появлюсь на улице Лондрес, дом восемь? Что, если я затеряюсь в Мадриде и попытаюсь строить новую жизнь, не сносясь с семьей, которую на

самом деле не знала? Зачем мне жить с родственниками, которые на самом деле мне не родственники и которых я увижу впервые в жизни, если ничто не мешает мне исчезнуть без всякого объяснения, чтобы всплыть под своим новым именем там, где мне захочется? Я боялась этой встречи. Мой страх перед ней был еще сильнее, чем тот, который я испытывала, когда вытаскивала из квартиры труп женщины, подарившей мне имя.

Я опустила взгляд и посмотрела на свои туфли. Это была единственная *моя* вещь из всего, что было на мне надето. Любой, кто взглянул бы на меня сейчас, подумал бы, что я приехала из глухой провинции, что я никогда не летала на самолете и не умею пользоваться банкоматом. Слишком просторная одежда из узорчатой ткани подходила для моего маскарада как нельзя лучше. С тех пор как я начала одеваться, действовать и даже иногда думать, как Аврора Перальта, я ощущала себя нежеланной, недалекой, ничем не примечательной женщиной.

С чего начинается ложь?.. С чужого имени? С чужого жеста? С чужих воспоминаний? Или, быть может, с одного-единственного слова?..

Дать Авроре Перальте заговорить означало, что мне придется впитывать ее, растворять в себе, пока я действительно не стану похожа на сложившийся в моей голове образ этой женщины. А я не хотела на нее даже походить. *Быть* Авророй Перальтой – каждый раз при одной мысли об этом во мне разгоралась нешуточная битва. Это означало перестать существовать. Уступить свое бытие, сдаться, склониться перед чужой личностью, которая в считанные дни обретет окончательную форму и займет главенствующее положение в моей речи, в моих воспоминаниях, в моем образе мыслей и в моих реакциях, в моих желаниях, даже в моей внешности. Как тогда мне держаться во время первой встречи? Чем заполнить первые дни? О чем говорить, после того как будут произнесены первые слова и даны все необходимые советы и инструкции – мол, туалет вон там, кофемашина стоит здесь, а телевизор включается вот так? Какое топливо будет двигать моим языком после того, как закончится короткая передышка вежливых приветствий и поздравлений? Я могла бы оплакивать смерть матери, которая не была моей, но что я могла рассказать о ее болезни и о ее кончине? А ведь рано или поздно эта

тема обязательно возникнет. И еще: какое у меня должно быть выражение лица, когда кто-нибудь из них упомянет о доме – о том доме, о котором Хулия и Пакита постоянно писали друг другу все последние годы?

За два дня до отъезда я получила письмо из испанской Инспекции по социальному обеспечению, адресованное Хулии. Оно было отправлено сравнительно недавно и содержало требование представить доказательства того, что она еще жива и может и дальше получать положенное вдове пособие. Насколько я знала, в течение шести лет после смерти Хулии ей было направлено ровно шесть таких писем. На эти письма Аврора отвечала, приложив апостилированный документ, в котором свидетельствовала, что ее мать жива, но не может лично явиться в консульство из-за проблем со здоровьем. В ее ответных письмах имелась и медицинская справка, удостоверенная тем же нотариусом. На последнее письмо Аврора ответить не успела, а я хоть и запаслась необходимыми документами, обошедшимися мне в непомерную сумму, все же не посмела их отправить.

«Мама постоянно твердит, что я толстею», – написала Аврора Перальта на первой странице своего дневника, который я нашла в ящике ночного столика. Дневник был спрятан, словно Аврора старалась держать его подальше от чужих глаз, и представлял собой толстую тетрадь в голубой обложке. Ее пожелтевшие страницы напоминали мне старую больничную простыню с пятнами мочи. В дневнике я нашла немало довольно откровенных размышлений – записки девушки, сожалеющей об уходящей юности, которые со временем превратились в высказывания зрелой женщины, смилившейся и замкнувшейся в своем одиночестве.

Каждый день Аврора писала в дневнике по одной-две строки, так что даже если бы она дожила до восьмидесяти лет, в нем все равно остались бы чистые листы.

«Сегодня мне было грустно». «Вчера я не ужинала». «Не хочу идти в кафе». «Мама ворчит». «Я снова толстею». «Мамин юмор становится невыносимым». «Сегодня играла в бинго». «Не хочется ни с кем говорить». «Терпеть не могу, когда мама меня ругает». «Сегодня мама хотела пойти гулять, я – нет. Мы поссорились».

Судя по дневниковым записям, Аврора Перальта не принадлежала к людям, которые хотят жить вопреки всему и умеют радоваться

жизни. Лишь в исключительных случаях она ссылалась на что-то, что выходило за пределы ее болезненной сконцентрированности на собственном здоровье, ссорах с матерью и заботах о семейном кафе, работать в котором ей приходилось все больше и больше.

«Мне здесь не нравится». «Не хочу идти в кафе». «Скучно целыми днями торчать у плиты».

Записи последних лет так же не проливали света на внутренний мир Авроры. Напротив, они выглядели еще более противоречивыми, размытыми и не позволяли сделать никаких определенных выводов относительно того, кем была Аврора Перальта на самом деле – и кем хотела быть. Единственное, что не вызывало сомнений, так это то, что семейное кафе ей осточертело и что работать с матерью она не хочет. «Сегодня мне пришлось испечь восемьдесят (!) эмпанадас». «Мама собирается идти в штаб-квартиру партии, чтобы готовить для участников какого-то съезда. Я не пойду. Я не служанка!»

Эти записи, состоящие из одной или двух строк, были для Авроры единственным способом выразить свое презрение к ремеслу, которым ее мать зарабатывала им обеим на жизнь. И все же скука, которую она испытывала, была гораздо сильнее чувства отторжения, которое вызывал в ней семейный бизнес.

Болезнь Хулии, которую Аврора Перальта описывала одним словом – «рак», выглядела в ее дневнике как живой человек. Как личность, наделенная собственной злой волей. Как новый член семьи, который незваным поселился в их квартире и которому Аврора приписывала различные состояния духа и настроения. Описания были сделаны в довольно нервной, почти театральной манере – так ребенок, играющий вместо кукол жестянками из-под газировки, начинает говорить тонким дребезжащим голосом, каким, по его мнению, должны были бы разговаривать эти неодушевленные предметы.

«Сегодня рак мучил маму особенно сильно. Она даже не смогла встать с постели. Мне пришлось самой открывать и закрывать кафе. Скверно». «Рак отступил. Мама встала». «Рак совсем озверел. Сегодня мы не открывались. Весь день в больнице – бедная мама! Впрочем, она сама виновата: если целыми днями стоять у плиты, можно нажать себе и рак, и вообще все что угодно. Хорошо, что сегодня мне не нужно было готовить».

В спальне Авроры Перальты, которую я обыскала особенно тщательно, не было почти ничего интересного, за исключением одной-двух вещей, которые меня озадачили. Судя по всему, серьезной литературы она вообще не читала. На ее книжных полках стояло всего несколько книг в бумажных обложках, в основном – бульварных романов, но среди них я с удивлением обнаружила пару романов Исабель Альенде^[50] и роман «Донья Барбара»^[51], который считался классикой венесуэльской литературы. Музыку Аврора, похоже, тоже не любила, зато много времени посвящала газетам, из которых делала вырезки. Я обнаружила две весьма разношерстные подборки, где рецепты тосино де съело^[52], рисового пудинга и профитролей соседствовали с кратким содержанием теленовелл и сериалов. Читая эти подборки, я могла бы восстановить программу телепередач как минимум лет за десять. С особенной остротой Аврора переживала финал каждого эпизода, используя ручку или фломастер, чтобы подчеркнуть строки, в которых описывалась развязка происходивших на экране событий. Мне эти сюжеты казались совершенно одинаковыми, но Аврора, вероятно, находила их исключительно интересными и оригинальными.

Просматривая третью подборку газетных вырезок, я уже не ожидала найти ничего интересного, но, взяв в руки очередной пожелтевший листок, вдруг застыла. Аврора сохранила у себя ту самую фотографию убитого солдата, которая так поразила меня в день моего десятилетия. Тогда я тоже вырезала ее из газеты и долго держала среди своих школьных тетрадей, пока она куда-то не потерялась. Сейчас я развернула сложенный в несколько раз снимок и снова увидела перед собой лицо мальчишки с залитым кровью лицом. И только перечитав текст, я поняла, почему он попал в коллекцию Авроры: на обратной стороне полосы, на которой рассказывалось об одном из самых первых взрывов социального недовольства в столице – взрыва, который мы обе пережили, – находился обведенный ярким цветным маркером некролог актрисы Дорис Уэллс^[53], блеснувшей в сериале «Зверь». В этой роли Дорис была подлинной владычицей наших грез, элегантной злодейкой, обладательницей копны золотистых волос и тонких, взлет, бровей, способных покорить любое мужское сердце.

Пока я оплакивала страну, Аврора скорбела о закатившейся звезде сериалов. Увы, и та, и другая оказались фантомами.

* * *

У меня кружилась голова, руки и ноги налились тяжестью; мне казалось, я не сумею даже дотащить свой чемодан до выхода из аэропорта. Подняв голову, я снова увидела толпу встречающих, которые, словно заведенные, повторяли одни и те же движения – размахивали табло с именами, самодельными плакатами и воздушными шарами. Взволнованные родственники улыбались все той же приветливой улыбкой, когда им казалось, что этот пассажир – на этот раз совершенно точно! – и есть тот самый блудный сын, которого они так ждали. И точно так же эти улыбки гасли, когда оказывалось, что это, увы, совсем другой, незнакомый человек. Но смотрите, смотрите!.. Это уж точно он! Вокруг них по-прежнему деловито сновали мужчины с электронными табло – даже не знаю, те же самые или другие. И точно так же размалеванные женщины в костюмах стюардесс, словно овчарки, сбивали в организованное стадо разбредшихся по всему вестибюлю японских туристов. Все было таким же, как прежде, и в то же время – другим: так бывает, когда включаешь и выключаешь свет в комнате, которая выглядит неизменной, хотя на самом деле она успела состариться на несколько секунд. И только я все так же сидела на скамье у стены и раздумывала, что мне делать дальше. Тот изящный ход, гениальный маневр, который привел меня сюда, обернулся гранатой с выдернутой чекой, и я старалась не шевелиться, боясь, как бы от неловкого движения не сработал взрыватель.

Похоже, переливания крови от Авроры ко мне было недостаточно. Чтобы заставить свое сердце работать, как надо, я должна была выпустить всю свою прежнюю кровь. Я должна была окончательно войти в новую роль. Авроре не повезло в жизни, но это не означало, что я должна стать такой же невезучей. В конце концов, я зашла так далеко вовсе не для того, чтобы рухнуть за считанные метры до финиша.

Поднявшись со скамьи, я вышла из здания аэропорта и твердым шагом направилась к стоянке такси.

– Улица Лондрес, восемь, – сказала я водителю, захлопывая за собой дверцу.

Белый седан рванул с места и влился в поток машин, двигавшийся по кольцевой трассе М-30. Шофер включил радио, и мужской голос в колонках произнес: «...В Мадриде – девять утра. На Канарских островах – восемь часов».

Машина пересекла широкое шоссе, по обеим сторонам которого высились современные офисные здания. Небо было чистым, как вымытое стекло. Глядя в окно, я мысленно повторяла все, что мне было известно о моих новых родственниках. Мария Хосе работала медсестрой в муниципальном центре здоровья. После развода они с сыном переехали в съемную квартиру в нескольких кварталах от дома Пакиты. Квартира была светлой, просторной и выходила на улицу. «Тебе понравится», – писала Мария Хосе в своем последнем электронном послании. Ее мать Пакита жила в старом семейном особняке на углу улиц Кардинала Бельюги и Хулио Камба, неподалеку от площади Америка Эспаньола – места, которое я успела полюбить благодаря оливковым деревьям, которые не менялись на протяжении всего года: единственная постоянная величина, бросающая вызов смене времен года. Пакита жила одна, если не считать ухаживавшей за ней боливийки. Как я поняла из писем Марии Хосе, ее мать то мыслила вполне здраво, то проваливалась в пучину старческого слабоумия. «В общем, сама увидишь», – писала Мария. «Да, увижу», – сказала я себе сейчас, поскольку высившиеся вдоль шоссе дома лишили меня дара речи: каждый из них казался мне выше и красивее, чем предыдущий.

Такси повернуло на мост Вентас сразу за Ареной – местом, где точно так же, как в моем родном городе, быки и мужчины встречались со смертью под фанфары и барабаны. Здесь, впрочем, мне пришлось бы платить за место на трибунах. В Каракасе смотреть на смерть можно было бесплатно.

Дом восемь по улице Лондрес выглядел довольно симпатично. Входная дверь была открыта, и какой-то мужчина с морщинистой, высохшей кожей мел ступеньки, которые, на мой взгляд, и без того были безупречно чистыми. У него было лицо курильщика, зубы курильщика, но темно-синий рабочий комбинезон выглядел свежим,

как только что из химчистки. Отложив метелку, он помог мне выгрузить багаж.

– Мне нужно на пятый этаж.

– Да, да, к Марии Хосе... Она говорила, что кого-то ждет. Может быть, подняться с вами?

– Нет, спасибо, – ответила я. – Я сама.

Когда дверцы лифта закрылись, я посмотрела на себя в зеркало. Вид у меня был ужасный. Утомленное, постаревшее лицо, возле губ залегли горькие складки. Между женщиной, которой я была, и моим отражением в зеркале стояло немало призраков – выгоревших, полинявших копий оригинального документа. Я сильно похудела и выглядела старой, старомодно одетой, словно я явилась не из другой страны, а из другого времени. Должно быть, именно так выглядела мать Авроры, когда только приехала в Каракас. Вся разница заключалась в том, что я была жива, а она – нет. Жизнь – чудо, которое я по-прежнему не понимаю до конца. И это чудо ежеминутно вонзало в меня острые зубы вины. Тот факт, что ты остался жив, является частью ужаса, который сопровождает каждого, кому удастся вырваться. Этот ужас, словно болезнь, стремится поразить каждого, пока он здоров, чтобы напомнить: ты выжил, хотя более достойные люди умерли.

Перед деревянной дверью, помеченной литерой «Д», я остановилась. Выпрямилась. Нажала кнопку звонка. За дверью послышались шаги, щелкнул замок...

– Вы?..

– Да, это я. Аврора.

Часы на лестничной площадке показывали половину одиннадцатого утра. На Канарах было девять тридцать. В Каракасе давно наступила ночь, и я знала, что рассвета не будет.

Все описанные события являются вымышленными. Некоторые действующие лица и события, имеющие в своей основе реальные факты, включены в роман в чисто художественных целях и не могут рассматриваться как свидетельство очевидца.

Благодарности

В заключение мне хотелось бы выразить свою глубокую благодарность следующим лицам:

– моей сестре Кристине, поэтессе, которая научила меня читать в моей душе и переживала каждую написанную страницу как подлинные события своей биографии;

– моей матери, которая никогда не скрывала от меня правды;

– моему отцу, капитану из капитанов;

– моему брату Хуану Карлосу, который показал мне океан и подсказал, что я могу пересечь его, когда мне захочется;

– Марии Апонте Борго – единственной настоящей писательнице;

– Хосе и Евлалии Сайнс. Теперь я вас понимаю;

– моим знакомым женщинам: тем, кто пишет, и тем, кто нет;

– Оскару. Без тебя не было бы ни одного романа – ни этого, ни тех, что ждут своей очереди в ящике моего письменного стола;

– Эмилио, который направил меня в «Ла Кареттера»;

– Марии Пенальве, которая не только знала, как прочесть эти страницы правильно, но и поверила в каждое слово.

– Гайдну, Малеру, Верди и Калласу;

– «Песням песта», которые я слышала в исполнении Соледад Браво, барабанщикам из Сан-Хуана и «Ла ембарасада дель виенто» Пола Маргаритеньо;

– моей земле, которая навсегда останется разделенной океаном.

notes

Примечания

Пер. В. Алексеева (*Здесь и далее – прим. переводчика*).

Пер. Ф. Зелинского.

Алпразола́м — лекарственное средство, производное бензодиазепина, которое используется для лечения панических расстройств, тревожных неврозов, таких как тревожное расстройство или социофобия.

Ла Тумба – штаб-квартира тайной полиции Венесуэлы.

Хуан Габриэль Васкес – современный колумбийский писатель.

Реггетон – музыкальный стиль, возникший в конце 1990-х годов в Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа. Получил распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна.

Имеется в виду фарфор «Пикман» производства одноименной фабрики, расположенной в Севилье на территории бывшего картезианского монастыря. Она была названа так по имени своего основателя англичанина Чарльза Пикмана и работает с 1841 г.

Федеральная война – вооруженный конфликт в Венесуэле, носивший характер гражданской и партизанской войны, произошедший в 1859–1863 годах между либералами-федералистами с одной стороны и консерваторами с другой. По своим масштабам это был крупнейший конфликт на территории Венесуэлы после окончания Войны за независимость.

Дворец Мирафлорес – официальная резиденция президента Боливарианской Республики Венесуэла. Расположен на авеню Урданета в муниципалитете Боливара-освободителя в Каракасе. Местом жительства президента является дворец Ла-Касона.

Пиньята – горшочек со сладостями. Во время праздника его подвешивают к потолку, а одному из присутствующих завязывают глаза и просят разбить горшочек палкой.

«Обыкновенное убийство» – роман американского писателя Трумена Капоте.

«Осень патриарха» – роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

«Зеленый дом» – роман перуанского писателя Марио Варгаса Льоса.

Гали́сия — исторический регион на северо-западе Пиренейского полуострова и автономное сообщество Испании.

Льянерос – пастухи-всадники, составлявшие особую этническую субкультуру в некоторых регионах Южной Америки, сходную с североамериканскими ковбоями.

Фуншал – главный город и морской порт острова Ма- дейра.

Sum total (*лат.*) – общая сумма, итоговый результат.

Хоропо – венесуэльский народный танец.

Южный конус – общее название стран юга Южной Америки: Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили.

Па-де-катр — музыкально-танцевальная форма в балете для четырех танцовщиков.

Академия Жюлиана – частная академия художеств в Париже, основанная художником Родольфо Жюлианом. В XIX веке была крупнейшим конкурентом парижской Школы изящных искусств.

Салон отверженных – художественная выставка, прошедшая в Париже в 1863 г., где были выставлены работы, не принятые на ежегодную Академическую выставку.

Имеется в виду г. Валенсия в Венесуэле, где начинал карьеру художник.

«Проницаемые» – серия инсталляций современного французского художника венесуэльского происхождения Хесуса Рафаэля Сото, выполненная в стиле оп-арт.

Карлос Крус-Диес – современный венесуэльский художник, работающий в стиле оп-арт и кинетического искусства.

Святой Хуан – Иоанн Креститель.

СЕБИН – Боливарианская служба национальной разведки. Орган внутренней и внешней разведки и контрразведки Венесуэлы, служба государственной безопасности; некоторыми описывается как тайная полиция.

Фуншал – город на острове Мадейра.

Армия национального освобождения (АНО) – колумбийская леворадикальная организация. АНО является второй по численности вооруженной повстанческой группировкой Колумбии после ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа).

Хайме Хиль де Бьедма-и-Альба – испанский поэт, одна из крупнейших фигур «поколения пятидесятих годов», принадлежал к т. н. «барселонской школе».

ЭТА – баскская леворадикальная националистическая организация, выступающая за независимость Страны басков.

Гвадаррама — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Гаспачо – холодная похлёбка из хлеба и овощей с оливковым маслом и уксусом.

Эль Хеликоид – здание универсального магазина в Каракасе, которое используется как тюрьма для уголовных и политических преступников.

Ласаллианцы (Братья христианских школ, Школьные братья) – монашеская конгрегация, основанная в 1684 году реймским каноником Жаном-Батистом де ла Саллем. Помимо традиционных монашеских обетов Школьные братья принимали дополнительный обет – посвятить жизнь обучению молодежи в христианском духе. В школах конгрегации были внедрены важные педагогические новшества, основанные на уважении к детям и учете их индивидуальных способностей.

Амедео Савойский – король Испании в 1870–1873 гг.

Битва при Карабобо (1821) – сражение времен Войны за независимость, в котором добровольческая армия Симона Боливара одержала решающую победу над испанскими войсками.

В 2006 г. по предложению президента Уго Чавеса Национальное собрание (парламент) Венесуэлы приняло решение изменить государственную символику. К флагу Венесуэлы была добавлена восьмая звезда, символизирующая присоединение в начале XIX в. самой восточной области страны – Гуаяны. Нововведение в символике президент Венесуэлы назвал «звездой Боливара», представив ее как дань памяти национальному герою. Впервые предложение внести в символику страны восьмую звезду поступило еще в 1817 году.

Негро Примеро – «Первый черный» (настоящее имя Педро Камехо) был венесуэльским солдатом, который сначала сражался с королевской армией, а затем перешел в армию повстанцев во время Венесуэльской войны за независимость, достигнув звания лейтенанта.

Томас Бернхард – австрийский писатель и драматург. Болезненный одиночка, непримиримый к любой фальши в личных и общественных отношениях, Бернхард своей жесточайшей критикой всех институтов австрийского общества снискал в стране репутацию очернителя и публичного скандалиста. В завещании запретил публикацию и постановку своих произведений в Австрии.

Тисо́на – меч легендарного испанского героя Родриго Диаса де Вивара, известного так же, как Эль Сид. Упоминается в «Песне о моем Сиде». Меч, предположительно являющийся Тисоной, в данный момент хранится в соборе города Бургоса и является национальным сокровищем Испании.

Ромуло Гальегос – писатель, президент Венесуэлы и один из основателей партии «Демократическое действие».

Гуарапо – алкогольный напиток из сахарного тростника или фруктов.

Способ курения, когда горящий конец сигареты находится в ротовой полости курильщика, а фильтр или незажженный конец — снаружи, был распространен в Венесуэле много лет назад, в основном — среди индейского населения.

Прессование табака является одним из наиболее распространенных методов, используемых при обработке табачного сырья.

Баухаус (Высшая школа строительства и художественного конструирования) – учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре.

«Галлимар» – французское издательство, одно из крупнейших в мире по выпуску художественной литературы. Издает также энциклопедии и словари, литературу по общественным и гуманитарным наукам, религии, искусству. Издания в основном в мягкой обложке.

Здесь перечислены известные скульпторы, художники, поэты и дизайнеры разных стран, стоявшие у истоков современного сюрреализма и кинетического искусства.

Дева из Вайе – римско-католический титул Пресвятой Девы Марии, почитаемой на островах Маргарита. В Венесуэле Дева является покровительницей Восточной Венесуэлы.

Исабель Альенде – чилийская писательница и журналистка. Одна из наиболее известных латиноамериканских писательниц.

«Донья Барбара» – роман Ромуло Гальегоса – президента Венесуэлы в 1948 году, писателя, журналиста.

Тосино де съело – испанский и португальский десерт, приготовленный на основе яичного желтка.

Дорис Уэллс – венесуэльская актриса, писатель и продюсер.